



ДАНИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ГРАНИН

**ЗУБР · ЭТА СТРАННАЯ ЖИЗНЬ ·
КАК РАБОТАТЬ ГЕНИЕМ**

*Книги, изменившие мир.
Писатели, объединившие
поколения.*

р у с с к а я к л а с с и к а

Эксклюзив: Русская классика

Даниил Гранин

**Зубр. Эта странная жизнь.
Как работать гением**

«Издательство АСТ»

1974, 1987, 1997

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Гранин Д. А.

Зубр. Эта странная жизнь. Как работать гением / Д. А. Гранин — «Издательство АСТ», 1974, 1987, 1997 — (Эксклюзив: Русская классика)

ISBN 978-5-17-144838-7

Николай Тимофеев-Ресовский... Зубр. Один из отцов-основателей современной генетики. Невероятный человек, по судьбе которого катком прошелся «век-волкодав». Чудом уцелевший в фашистской Германии и в ГУЛАГе, он не просто выжил, а заложил основы радиационной биологии и генетики. ЮНЕСКО включило его имя в число выдающихся ученых, а в 1950 году западные коллеги выдвигали его на Нобелевскую премию. Советские власти не ответили на вопрос, жив ли такой ученый, поэтому Тимофеева-Ресовского об этом не оповестили и премию он не получил... «Он был живым, осязаемым звеном этой цепи времен, казалось оборванной навсегда, но вот найденной, еще живой». «Эта странная жизнь» посвящена талантливому отечественному биологу Александру Любищеву, который поставил перед собой удивительную задачу – максимально продуктивно использовать время, отведенное ему сроком человеческой жизни, и создал уникальную систему «учета времени». Также в сборник входит эссе «Как работать гением», посвященное жизни и творчеству великого физика Петра Капицы.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-144838-7

© Гранин Д. А., 1974, 1987, 1997
© Издательство АСТ, 1974, 1987, 1997

Содержание

Зубр	7
Глава первая	7
Глава вторая	11
Глава третья	14
Глава четвертая	18
Глава пятая	20
Глава шестая	21
Глава седьмая	25
Глава восьмая	27
Глава девятая	30
Глава десятая	32
Глава одиннадцатая	36
Глава двенадцатая	40
Глава тринадцатая	42
Глава четырнадцатая	44
Глава пятнадцатая	47
Глава шестнадцатая	51
Глава семнадцатая	53
Глава восемнадцатая	58
Глава девятнадцатая	64
Глава двадцатая	66
Глава двадцать первая	68
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Даниил Гранин
Зубр. Эта странная жизнь.
Как работать гением

© Д. А. Гранин, наследник, 2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

* * *

Зубр

Глава первая

В день открытия конгресса был дан прием во Дворце съездов. Между длинными накрытыми столами после первых тостов закружился густой разноязычный поток. Переходили с бокалами от одной группы к другой, знакомились и знакомили, за кого-то пили, кому-то передавали приветы, кого-то разыскивали, вглядываясь в карточки, которые блестели у всех на лацканах. Там была эмблема конгресса, фамилия и страна участника. Кружение это, или кипение, с виду беспорядочное, бессмысленное, составляло между тем наибольшее удовольствие и, я бы сказал, даже пользу такого рода международных сборищ. Деловая часть – доклады, сообщения – все это, конечно, тоже было необходимо, хотя большинство лишь делало вид, что что-то в них понимает. Некоторые и не жаждали понимать, но все жаждали общения, возможности поболтать с тем, кого давно знали по публикациям, что-то спросить, рассказать, выяснить. Тут-то и происходило самое нужное, самое дорогое для всех этих людей, разлученных большую часть жизни, разбросанных по университетам, институтам, лабораториям Европы, Америки, Азии и даже Австралии.

Тут были знаменитости прошлого, памятные только пожилым, некогда нашумевшие, обещавшие новые направления; надежды, как водится, не оправдались, от обещаний осталось совсем немного, слава богу, если хоть что-то, хоть одна мутация, одна статейка... Историей своей науки – генетики – молодые, как правило, не интересовались. Для них существовали корифеи сегодняшние, лидеры новых надежд, новых обещаний. Были знаменитости в каких-то своих узких областях – по болезням кукурузы, по выживаемости дуба, были знаменитости всеобщие, которые сумели что-то понять в наследственности, в механизме эволюции. А были такие знаменитости, живые классики, о которых даже я что-то слышал. Между столами, между группами сновали молодые, у которых все было впереди – и громкая слава, и горькие неудачи.

Прием был тем замечателен, что знакомства, разговоры происходили в начале конгресса, можно было выяснить, кто – кто, кто присутствует, кого нет...

В этом совершенно хаотическом движении среди возгласов, звона рюмок, смеха, поклонов вдруг что-то произошло, легкое движение, шепот пополз, зашелестел. На рассеянно-улыбчивых лицах, оживленных как бы беспредметно, появилось любопытство. Кое-кто двинулся в дальний угол зала. Одни словно невзначай, другие решительно и удивленно.

В том дальнем углу в кресле сидел Зубр. Могучая его голова была набычена, маленькие глазки сверкали исподлобья колюче и зорко. К нему подходили, кланялись, осторожно пожимали руку. Оттопырив нижнюю губу, он пофыркивал, рычал то одобрительно, то возмущенно. Густая седая грива его лохматилась. Он был, конечно, стар, но годы не источили его, а скорее задубили. Он был тяжел и тверд, как мореный дуб.

Женщина, худенькая, немолодая, обняла его, расцеловала. Женщина была та самая Шарлотта Ауэрбах, чьи книги недавно вышли в переводе на русский, вызвали интерес, ее уже знали в лицо, в то время как Зубра в лицо не знали. Большинство подходило именно затем, чтобы взглянуть на него хотя бы издали. Шарлотта приехала из Англии. Когда-то она бежала туда из гитлеровской Германии. Зубр помог ей устроиться в Англии. Это было давно, в 1933 году, возможно, он забыл об этом, но она помнила малейшие подробности. Легкие женские слезы радости катились по ее щекам. Кроме радости, была еще и печаль долгой разлуки. Сорок пять лет прошло с того дня, как они расстались. Миновали эпохи, весь мир изменился, а Зубр оставался для нее прежним, все таким же старшим, хотя они были одногодки.

Подошел американец, лауреат Нобелевской премии, нескладный, длиннорукий. Он обнял Зубра, захлопал носом. Он вел себя как хотел, вытирал нос рукой, он был корифей и мог позволить себе. За ним подошел грек Канелис, которого Зубр спас лет тридцать пять назад в Берлине, продержав его у себя до конца войны. Древний грек Антоша Канелис, как звал его Зубр, был немногословен, он знал все языки, хотя не говорил ни на одном, он любил молчать, он молчал на всех языках, и тем не менее все убеждались через его молчаливость, какой это прекрасный человек.

Деликатно выждав свою очередь, к Зубру приблизился Майкл Уайт, австралийская звезда, самоуверенный красавец, но тут он несколько смущенно принялся объяснять, что он тот самый юноша, который сопровождал Зубра и Феодосия Добржанского по Лондону, вернее, должен был водить, а он сопровождал, потому что Зубр и Добржанский разговаривали между собой, теряли его, потом спохватывались, кричали: «Где этот парень?» Зубр одобрительно хмыкал: «Федька Добржанский...» Как ни странно, Уайта он помнил, а Лондон помнился смутно. За Уайтом тянулся голландец, за ним группа немцев, за ней азербайджанский молодой профессор, которого представил его московский соавтор. С Джузеппе Монталенти Зубр перемолвился по-итальянски. Одним из украшений конгресса – ибо на каждом конгрессе, симпозиуме, съезде должно быть свое «высочество» – был швед Густафсон, он тоже протискивался к Зубру. А другое украшение конгресса – президент общества, представитель, уполномоченный, главный редактор, координатор и прочая – человек светский, тертый, умеющий себя подать, всегда находчиво-острый, тут вдруг оробел и все допытывался у одной из наших молоденьких сотрудниц – удобно ли представить его Зубру.

Молодые теснились поодаль, с любопытством разглядывая и самого Зубра, и этот не предусмотренный программой церемониал – парад знаменитостей, которые подходили к Зубру засвидетельствовать свое почтение. Сам Зубр принимал этот неожиданный парад как должное. Похоже было, что ему нравилась роль маршала или патриарха; он милостиво кивал, выслушивал людей, которые занимались несомненно наилучшей, самой прекрасной и доброй из всех наук – они изучали Природу: кто и что растет на земле, все, что движется, летает, ползает, почему все это живое живет и множится, почему развивается, меняется или не меняется, сохраняя свои формы. Поколение за поколением эти люди старались понять то таинственное начало, которое отличает живое от неживого. Как никто другой, постигали они душу, что вложена в каждого червяка, в каждую муху, хотя, разумеется, вместо этого ненаучного названия они употребляли длинные труднопроизносимые термины; но тот из них, кто забирался глубоко, невольно замирал перед чудом совершенства ничтожнейших организмов. Даже на уровне клетки, простейшего устройства оставалась непостижимая сложность поведения, нечто одушевленное. Прикосновение к трепетной этой материи невольно объединяло всю эту разноязычную, разновозрастную, разноликую публику.

Как всегда бывает, тут же возле Зубра вертелся один бойкий профессор, собирая свою мелкую жатву визитных карточек, рукопожатий; он произносил какие-то фразы, вероятно умные, но они пропадали, на них не хватало внимания.

Непосвященные шептались, стараясь не пропустить ничего из происходящего. Потому что чувствовали, что на глазах у них творится событие историческое. О Зубре ходили легенды, множество легенд, одна невероятнее другой. Их передавали на ухо. Не верили. Ахали. Было бы странно, если бы подобные рассказы подтвердились. Они походили на мифы, которыми пытались объяснить какие-то факты его жизни. О нем существовали анекдоты, ему приписывались изречения, выходки и поступки совершенно невозможные. Были просто сказочные истории, интересно, что не всегда для него лестные, некоторые так прямо зловещие. Но большей частью героические или же плутовские, никак не связанные с наукой.

Теперь, разглядывая его в натуральности, все невольно сличали его с тем образом, который витал в их воображении. И как ни удивительно, все сходилось. Видно было по его коре-

настояй фигуре, по его ручишам, какой огромной физической силы был этот человек. Лицо его было изрезано морщинами жизни бурной и значительной. Следы минувших схваток, отчаянных схваток не безобразили, а скорее украшали его сильную, породистую физиономию. И держался он по-иному, чем все, – свободнее, раскованнее. Чувствовалось, что безоглядность присуща его натуре. Он позволял себе быть самим собою. Каким-то образом он сохранял эту привилегию детей. В нем были изысканность и – грубость. И то и другое соответствовало легендам о его аристократических предках и о его драках с уголовниками.

У любимого его ученика Володи Иванова я увидел дома картину. Это было единственное, что он взял после смерти Зубра на память об учителе. В. Иванову было предоставлено право выбора, и он выбрал картину. Ее называют «Три зубра». На ней изображен сам Зубр, он сидит, держит руки на фигуре зубра; на стене, над ним, висит фотография Нильса Бора. Обычная, известная фотография, но в соседстве с этими двумя зубрами у Нильса Бора тоже проступает «зубрость», бычье упорство, тяжелая челюсть, сосредоточенность и диковатость, неприрученность зубров, бизонов – «вида, почти начисто истребленного человеком». У них много общего – у Зубра и у Нильса Бора, недаром они так легко сошлись, когда Зубр приехал в школу Нильса Бора.

Фигура под руками Зубра как бы вырастает в матерую четвероногую сутулую махину весом чуть ли не в тонну, с мохнатым загривком, горбоносой мордой. Даже в заповеднике они не подпускают к себе человека ближе чем на тридцать метров.

А сам Зубр здесь еще в полной силе и красе. Художник рисовал его, когда ему было лет шестьдесят. А может, шестьдесят пять или семьдесят. Последние годы он оставался неизменным. Новые морщины не старили его. Я никогда не встречал похожих на него. Он из тех людей, которые запоминаются сразу, их ни с кем не спутаешь. Я видел его молодые фотографии и портреты – разумеется, лицо там гладкое, волосы дыбом, кудряво-черные, но выхватываешь его сразу, в любой группе. Даже на кадре плохо снятой кинохроники 1918 года его можно узнать в строю красноармейцев. День всеобща в Москве 28 мая 1918 года. Красная площадь. У Исторического музея стоят в вольном строю красноармейцы. Над ними бархатные знамена-хоругви, «Да здравствует союз рабочих и крестьян!» и прочие надписи, уже плохо различимые. Красноармейцы в гимнастерках, ботинки с обмотками, фуражечки – козырьки лакированные. Среди прочих рядом с усачом стоит в профиль наш Зубр. Тоненький, но знакомо сутуловатый, узнаваемый безошибочно. Снимок был напечатан в 1967 году в журнале «Советский экран», и сразу начались звонки: «Видали? Это же вы! Мы вас сразу нашли...»

Художник на портрете написал его красной краской. Не знаю, что хотел красным цветом сказать армянский художник, но портрет получился. На нем кистью выражена куда лучше, чем я могу это сделать пером, раскаленность этой натуры, «зубрость».

...В бинокль я видел, как он выходил из чащи. Косматая туша, не приспособленная к заповеднику. Тесно ему было в этих малых, скупотмеренных лесных угодах, некуда запрягать громаду своего тела, некуда девать свою силу. Воинственно уставив короткие рога, он шел почти бесшумно, влажные ноздри его подрагивали. Он казался громоздким, был излишне тяжел, излишне велик рядом с косулями, горными козлами и прочей живностью заповедника. В нем чувствовалась древность...

Мне вспомнилась больничная палата, уставленная койками в два ряда. Кроме Зубра, там лежали еще человек десять. Я нашел его сразу, потому что все смотрели в его сторону. Он кого-то слушал, и время от времени раздавался его низкий мощный рык. Он был центром палаты. Где бы он ни появлялся, через какое-то время он становился центром. От него ненасытно ждали чего-то и чем больше получали, тем больше ждали.

Я сидел на койке в ногах у него. Густой запах лекарств, карболки, спирта, стеклянный звон пузырьков, скрип кроватей, охи недужных тел – больничный быт никак не вязался с Зуб-

ром. Он полулежал на подушках. В распахе казенной рубахи видна была широкая косматая грудь. Руки, мускулистые, обнаженные по локоть, вылеплены были безукоризненно. Кожа была гладкой, белой, неуместно нежной. Воинственно выпяченная нижняя губа придавала лицу и грубость, и породистость. В нем это сочеталось – мужицкое и утонченное. Зверское и аристократическое. В этом бязевом застиранном белье, таком же, как на всех, сотрясаемый тем же кашлем, подчиненный тем же процедурам, что и все, – уколы, осмотры, в этой обстановке не оставалось ни должностей, ни званий, ни окладов, ничего приобретенного, ничего из того, что ценилось там, за дверями палаты. Я проверил себя: может, мы приписываем ему многое потому, что знаем, кто он? Оказалось, что и здесь, в этой палате, больные, понятия не имея, кто такой Зубр, откуда он, чем знаменит, признали его старшинство, его превосходство.

Я рассказывал ему новости, когда вдруг луч зимнего солнца сбоку осветил его заросшую шею, уголок глаза, прикрытый морщинистым веком, седые космы его шевелюры. Непривычный ракурс, световая вспышка позволили увидеть нечто скрытое: это не возраст, не престарелость, а *древность*. Существо из другой эпохи, архаичное, чудом уцелевшее до наших дней. Он был из той поры, когда стада зубров еще бродили в урочищах Кавказа и горах Гарца. Экземпляр давно вымершего вида, диковина вроде живой кистеперой рыбы – целаканта, которую все считали вымершей семьдесят миллионов лет назад.

Армянский художник запечатлел эту допотопность, возможно даже не сознавая того. Мы все ходили вокруг да около, а он выразил то, что не давалось нам. Художники бывают провидцами. Перелистывая альбом рисунков Леонида Пастернака, я обратил внимание на портреты двух его сыновей – Александра и Бориса: два симпатичных мальчика, нарисованных отцом с любовью, и как явственно отличие облика Бориса, отмеченного печатью гения!

В этой случайной городской больнице, лишенный привилегий, в общей палате, он выглядел еще трагичнее и величественнее. Античный герой, римский император в изгнании, король Лир в рубище – разная такая ерундовина лезла в голову.

А еще протопоп Аввакум, которого Зубр чрезвычайно чтит, цитировал и приписывал ему свои собственные изречения для пушнего авторитета:

– Вернемся на первое, как говаривал протопоп Аввакум, и посмотрим, почему же сие важно в-пятых, и увидим, что в-пятых сие вовсе и не важно.

Тощие подушки, и горелая каша, и хрип в груди были не важны, а важно было то, что он только что вычитал в английской книжке «Жизнь после жизни» – рассказы вернувшихся *оттуда*, после реанимации, тех, кто побывал на том берегу, заглянул за порог бытия. Вся мощь его ума, его знаний беспомощно застревала перед глухой стеной, в которую упирался конец жизни. Что там? Есть там что-нибудь или же нет? Куда же девается душа, сознание, мое «я»?

... Луч погас, видение пропало, передо мной снова был хрипящий, надсадно кашляющий больной, который болеть не умел, потому что болел редко, и оттого болел тяжело. Ощущение бренности, растущей непрочности его пребывания среди нас встревожило меня, пожалуй, впервые. До этой минуты он казался бессмертным, как Нева, как Уральские горы, как статуи римских консулов, что стоят в Эрмитаже... Цепь имела конец, другой конец ее уходил в неведомые нам двадцатые, тридцатые годы, в Гражданскую войну, в Московский университет времен Лебедева и Тимирязева, тянулся и далее – в девятнадцатый век и даже в восемнадцатый, во времена Екатерины. Он был живым, осязаемым звеном этой цепи времен, казалось оборванной навсегда, но вот найденной, еще живой.

Вот тогда я решил записать его рассказы, сохранить, запрятать в кассеты, в рукописи хотя бы остатки того, что до сих пор транжирил в трепе с ним у костров, в застолье, в бестолковых расспросах. С этого дня я стал записывать.

Глава вторая

На перроне Казанского вокзала в морозный декабрьский день 1955 года собралось довольно много встречающих. Большинство из них были знакомы, поскольку все они были коренные москвичи, связанные университетом, кафедрами, домами, общими приятелями. Встречать Зубра пришли не только биологи, были тут и физики, и филологи, и моряки, прежде всего друзья по поколению. Явились почему-то семьями, с детьми, чтобы показать им его, того самого, о котором столько толковали. Все ощущали торжественность, чуть ли не историчность момента.

Впервые Зубру было разрешено вернуться в Москву. Отсутствовал он более тридцати лет, ибо отбыл из Москвы в 1925 году. Отбывал он с Белорусского вокзала в Германию, а возвращался ныне с Казанского, с Урала, с другой стороны земли.

1956 год был годом особенным, бурным годом прозрений, взлета общественного сознания, годом надежд, споров, освобождения от застарелых страхов. Страхи сидели глубоко, так что даже встреча Зубра на вокзале требовала некоторого гражданского мужества. Все были возбуждены и взволнованы. Не могли представить себе – кого они увидят, какой он стал, узнают ли? В тот год возвращались многие, но этот приезд был особенным. Зубр не возвращался, а приезжал их навестить, он как бы спустился к ним со своих Уральских гор.

Распаренные, счастливые выскакивали из вагонов пассажиры, суетились с чемоданами и тюками; и наконец показался Зубр с супругою. Он был в шубе барского покроя, с бобровым воротником-шалью; она, красавица, потомственная москвичка, которую он звал Лелька, выше его на полголовы, была к тому же украшена высоченной меховой шляпой.

Их узнали сразу. Дети, те, кто никогда не видел их, выделили их безошибочно по абсолютной свободе манер, раскованности, той непринужденности движений, которая естественна, красива и почему-то так трудна. Тогда, в 1956 году, это было особенно заметно. Люди держались замкнуто, стесненно, тем более в публичных местах. У каждого времени своя жестикуляция, своя походка, своя манера раскланиваться, брать под руку, пить чай, держать речь. В пятидесятые годы вели себя иначе, чем в тридцатые или двадцатые. Например, на всех производило впечатление, что Зубр поцеловал руки встречавшим его женщинам. Тогда это было не принято. Поеживались от его громкого голоса, от неосторожных фраз. Что-то было в поведении приехавших не нынешнее, не тутошнее и в то же время смутно узнаваемое, как будто появились предки, знакомые по семейным преданиям. Этакое старомодное, отжитое, но было и другое – утраченное. Большинство встречающих учились либо с Лелькой в одной гимназии, либо с ним – в гимназии или университете. Они-то и узнавали общее, молодое, что сохранилось только у этих двоих – у Лельки и Колюши, как звали их однокашники.

Все эти дни и недели застолья сменялись выступлениями, докладами, обсуждениями, бесконечными сладостными спорами, рассказами, расспросами. Капица, Ляпунов, Ландау, Тамм, Дубинин, Сукачев, академики, студенты, знакомые знакомых, родственники – всем было любопытно, и те, кто побывал раз, старались прийти снова. Свита поклонников росла, привлеченная... Чем? Это поняли далеко не сразу.

А пока что... Чернобородый Ляпунов, из семьи великих математиков и сам замечательный математик, вдохновенно воспевал создание Академгородка под Новосибирском. При Академгородке будет создана школа для одаренных ребят, будущих математиков, которых будем выискивать по всей Сибири. Под эгидой математики, высшей из наук, будем выращивать и поощрять другие науки, ибо математика – наука всех наук. Ляпунов приглашал и гуманитариев, обещал им местечко под крылом точных наук. Математикам полезен некоторый гуманитарный блеск для общего развития. Математики возьмут шефство над музыкой, над

живописью. Соперничество возникало с физиками, которые считали себя главнее. После атомной бомбы они возбуждали почтение и надежды. Может быть, им под силу создать изобилие энергии, даровым электричеством преобразить окраины, облегчить жизнь, труд, решить все проблемы. Ждали, что последуют новые и новые головокружительные открытия физиков, а тут еще подоспела кибернетика, все зачитывались книгами Венера: фантастические картины будущего приблизились, казалось, вплотную – искусственный интеллект, роботы, обучающиеся автоматы... Строился город физиков в Дубне, атомная станция в Обнинске, институты в сибирском Академгородке. На физическом факультете были неслыханные конкурсы поступающих. Шли кинокартины о физиках, со сцены слышалось: «Эйнштейн», «протон», «кванты», «цепная реакция»... Физики были героями дня. Парни в клетчатых рубашках, лохмато-расхристанные, небрежно швыряющиеся жаргонными словечками, увенчанные между тем премиями, наградами, высокими окладами, судили обо всем категорично и свысока. Гуманитарии перед ними робели. Стыдились своего невежества. Филология, история, лингвистика, искусствоведение, философия казались науками отжившими, второстепенными. Будущее принадлежало экспериментаторам и теоретикам. Они, посвященные, таинственные, связанные с какими-то «ящичками», обещали перемену нравов, покровительство опальным художникам. Общественное устройство, экономика, право – все будет подчинено оптимальным научным законам...

Газетчики, лекторы доверчиво подхватывали их категорические пророчества.

По всем городам и весям страны полыхал спор о физиках и лириках. Кто развлекался, подначивал, кто всерьез, до боли сердечной, доказывал, что искусство осталось лишь для развлечений, оно – пустая трата времени, если не дает информации. Лирики смущенно отступали, склоняя голову перед новой силой.

За столом у Реформатских, Ляпуновых, у всех друзей только и слышно было, куда ехать, в какой научный центр, где будем строить науку, по каким новым правилам будем там жить, какие принципы положим... Дивное было время!

Биологию, ту тоже обещали перестроить, перевернуть, пере-пере... Молодые математики, физики, химики засучив рукава брались решить ветхозаветные проблемы биологии. Применить к этим козявкам, травкам электронику, она все измерит, все смоделирует. Приборы откроют двери для математиков. В конце концов, вся ваша биология, биохимия, все это – физика и математика, это разные формы движения материи. Установим связи и познаем сущность самой жизни, а тогда станем управлять процессами в организмах, в природе на всех уровнях. Хватит вам сотни лет возиться у микроскопов, подсчитывать количество ножек у букашек.

Они считали Зубра своим союзником, но он только посмеивался. Грохот физических барабанов не производил на него впечатления.

– В каждом приборе, аппарате я прежде всего ищу кнопку «стоп»!

Такое от него слушать было странно. И отмахнуться было нельзя. О биофизике кому судить, как не ему – одному из ее создателей, основателей.

Физиков обескураживало, что Нильс Бор, Гейзенберг, Шредингер – их кумиры – были для него коллегами, с которыми он работал, общался. Его пригласил сам Капица сделать доклад на ближайшем «капичнике» – знаменитом сборище лучших наших физиков. Выступать на «капичнике» считалось смертельным номером. Здешняя публика воспитана была на крови и мясе. Могли загрызть, растерзать, сжевать, выплюнув любые регалии. Соображали быстро, усекали что к чему и почему за несколько минут.

Ничего этого он не боялся. Откуда он взялся, такой смельчак?

Насчет того, откуда он взялся, это он с удовольствием рассказывал. У него было множество рассказов о своих предках. Там имелись истории шуточные, трагические, скабрзные, трогательные.

Как он рассказывал, с каким подмигом, рассыпчатым хохотом, как взгаркивал! Магнитофонная запись – всего лишь чертеж, переписанное в книгу – копия копии, тень рассказа.

От многих славных рассказчиков Зубр отличался тем, что каждая из его историй была не просто милой байкой, она рассказывалась зачем-то, что-то объясняла в нем. Но это мы уяснили себе позже.

Глава третья

Его детство было заполнено пращурами не только девятнадцатого, но и восемнадцатого века.

– ...Тимофеев-Ресовский – это я по отцу. А мать моя урожденная Всеволожская. Древняя-предревняя русская фамилия. На самый верх никогда не попадали, то беднели, то богатели, однако имений своих не теряли, так что окончательного разорения не достигали. Одна из невест Грозного была Всеволожская. При Петре один из молодых Всеволожских полюбился царю и был послан за границу учиться в числе прочих абитуриентов. Вернувшись, как положено, стал работать на благо Отечества. Заимел дом в Санкт-Петербурге, процветал. Однако при Бироне, когда петровским птенцам приходилось плохо, его однажды предупредили об аресте, и он драпанул с чадами на своей лошадиной тяге. Смылся он на свои дикие земли в Нижнее Заволжье, куда-то на границу с киргизскими ордами. Поскольку барин он был хороший, из разных имений к нему потихоньку стали стекаться его мужички, тем более что Бирон имения эти реквизирует. Так этот Всеволожский обосновался ровно независимый князек. И задался он – не то чтобы пузо ублажить – полезной целью, государственную, можно сказать, задачу себе поставил: обезопасить торговые пути в Бухару, Хиву, Среднюю Азию, а потом и в Персию. Грабили русских купцов хивинцы, кокандцы, всякие беспризорные кочевники. Он сражался с этими, как он говорил, азиатами. Собралось у него много казаков. Комфорт. Никакого начальства кругом до горизонта, никто глаза не мозолит, ни один мундир...

Смешок, вздох сочувствия, горделивый хмык, как будто не про восемнадцатый век, а про семейные дела, про дядю родного рассказывает. Прапрапрадеды стояли за его спиной, не какие-то пыльные предки, а живые родственники. Соотношение между дремучей давностью и горячим его чувством – вот какое несоответствие удивляло.

– ...Настоящий разбойник без убийства обходится. Ему страха вполне хватает. Для души было у родича отрадное им всем дело: узнав, что где-нибудь на Волге сажали губернатором, комендантом или еще каким начальником немца, он со своими казаками город сей брал штурмом, немца сек публично и с великим срамом отпускал на все четыре стороны, пусть жалуется своему Бирону, а сам ускакивал в свое не ведомое никому поместье. Так он свои принципы тетешил, пользуясь тем, что веселая Елизавета и матушка Екатерина просмотрели его. Был он ранен на девятом десятке в плечо, но тяжко. Верхом тем не менее доехал до дому, поддерживали его с обеих сторон его казаки. Похоронить себя приказал неподалеку на очень красивом месте. Там протекают никуда не впадающие реки Большой и Малый Узень, они в пески уходят. В овраге Малого Узеня и стояла усадьба. На склоне оврага похоронили его.

Имелся и другой пращур, вполне вроде благонамеренный мужчина, который, однако, дошел до пиратства. Он тоже, между прочим, был отправлен Петром за границу изучать землемерию. Вернувшись, стал землепроходцем, ходил всю жизнь на освоение охотских и камчатских земель. Интересовался образованием рек, озер и прочими объектами физической географии. В чине бригадира, семидесяти пяти лет вышел в отставку и поселился в малом своем имении в Калужской губернии. Собрал он замечательную библиотеку на европейских языках по географии, минералогии, более же всего занимал его Гольфстрим. Изучал он иностранные сведения по дебиту Гольфстрима – куда деваются его воды. Считал, считал и решил, что известные ветви Гольфстрима не покрывают дебита, должно быть еще одно ответвление на восток от Груманта, ныне Шпицбергена, и Земли Франца-Иосифа. Если там есть острова, то это должны быть зеленые теплые острова, с доброй зимой и ярким летом. И так он возмечтал, так затуманился, что постановил отправиться в экспедицию. Все движимое продал, имение

заложил, собрал полсотни своих мужиков-казаков и поехал в Архангельск. Там снарядил три шнеки, и поплыли на них эти чудики в Арктику открывать теплые острова...

Человек, так хорошо знающий своих предков, встретился мне впервые. В наше время дальше деда редко кто чего помнит и знает. Да и не было интереса большого. Что предки? Какая от них польза? «Отречемся от старого мира...» Заодно отрекались и от родословной. Там кто? Угнетатели или угнетенные, темные, забытые. Мы начало всему. Мы всё начинали заново. И снова заново. И еще раз. Чтобы дворянского своего происхождения не скрывать, такого в те годы не водилось. Он же хоть и посмеивался, а рассказывал про своих куролесов с гордостью.

* * *

– ...Ехали они помаленьку вдоль кромки полярных льдов. Пращур промерял температуру, скорости и другие качества и, по-видимому, убедился, что был неправ – неучтенных ветвей Гольфстрима нет и теплых зеленых островов на горизонте не будет. Добрались они до Груманта, там подхватили их штормы, вынесли в северную Атлантику и выбросили на берега Нормандии. Несколько человек потонуло, остальные вылезли на французские скалы и отправились в Париж. Вместо того чтобы просить русского посла в Париже отправить их домой, пращур затевает новое предприятие. Возвращаться-то ни с чем неохота. В это время французские коммерсанты осваивают Алжир, Марокко, а пращур мой всегда интерес имел к Северной Африке, и предложил он коммерсантам принять участие в их экспедиции в качестве охраны. Подрядились. Отправились в Марокко. Там напали на них марокканские воины, забрали в плен и продали в рабство. Привезли на рынок в Александрию египетскую. Пращур завязал приятельство с единоверными греками, и те кого выкупили из рабства, кого выкрали. Старика выкупили по дешевке – седой да тощий. Жили они у греков. И однажды увидели турецкий фрегат. Там были только часовые. Безлунной ночью вместе с греками на лодках подплыли, забрались, часовых скинули в море (все, как в романах Стивенсона!), подняли паруса и ушли на турецком корабле. Известно им было, что Россия все еще находится в состоянии войны с турецкой Портой, и стали они каперствовать. Согласно тогдашним порядкам, за участие в военных действиях частный корабль получал процент с награбленного имущества. Поскольку судно оказалось быстроходным, каперствовали успешно, причем на паях с единоверными греками. Море теплое, опять же – воля вольная. Мужичкам-казакам нравилось сие занятие, пока не напоролись на турецкий флот и были взяты в плен.

Однако не рабами, а военнопленными. Посажены в лагерь в окрестностях Константинополя...

Далее шел рассказ о том, как снова помогали греки-единоверцы, устраивали побег за побегом, как переправляли беглецов в Малую Азию, пока они не собрались всей компанией и опять долго разбойничали на Анатолийском побережье... Несколько раз я слышал этот рассказ, он повторялся – с мелкими разночтениями – в точности, но с вариациями и новыми подробностями, такими, которые появляются, когда проезжаешь одну и ту же станцию. Ни в каких печатных источниках история эта не зафиксирована, может, историк и сумел бы кое-что разыскать, но Зубр знал ее изустно: была она одной из внутрисемейных легенд, что передавались из поколения в поколение. Таких легенд набиралось много. Каждая имела сюжет, построенный на самобытном характере, действующем в гуще российской истории, подобно Аннибалу де Коконасу из «Королевы Марго». Раньше я думал, что наша русская история слишком серьезна и мрачна, поэтому у нас не хватает таких героев, как в «Трех мушкетерах», как герои «Острова сокровищ», «Одиссеи капитана Блада». Ничего подобного, история тут ни при чем. Зубр показывал, что и у нас она богата и смехом, и отчаянными приключениями

выдумщиков, пиратов, мечтателей, шутейством, авантюрами и такими анекдотами, которые украсили бы любой плутовской роман.

– ...Новенький линейный корабль и фрегат под турецкими флагами. Команда пиновала на берегу. Ночью испытанным способом оглушили часовых и уплыли на север. Там князь Потемкин формировал в низовьях рек Таврический флот. В один прекрасный день видят, как два турецких военных корабля приближаются к нашим берегам. Однако они идут под русскими флагами. Поднялся переполох. Решили – обман какой-то, хитрость, но тут им на родном языке доступно разъяснили, что на кораблях не басурмане, а вполне русские люди. Было превеликое торжество и винопитие. Были отправлены гонцы к матушке Екатерине. Она распорядилась приобрести турецкие корабли у благополучно прибывшего из-за границы бригадира и включить их в состав российского флота. Бригадиру же через чин пожаловать генерал-лейтенанта и придворный чин генерал-адъютанта. Деньги немалые позволили ему возместить убытки экспедиции, выкупить именье, наградить своих мужичков...

Оказывается, имелись на эту эпопею документы и грамоты. В семейном архиве хранились дела о приобретении кораблей. Пожертвовали дела эти в Румянцевскую библиотеку, но не успели передать из-за войны.

– ...Не так-то просто государству что-нибудь подарить. В двадцать втором году калужские власти наконец разрешили нам вывезти архив, но к этому времени директор совхоза, украв все, что мог, стал заметать следы, устроил поджог. Сгорели дом, мебель, архив, уже принятый Румянцевской библиотекой и приготовленный к отправке. Черт с ней, с рухлядью, архива жаль. Я бы должен был содействовать, так я на фронты ходил, а когда возвращался, бежал в зоомузей к своим карповым рыбам и бычкам...

Архив сгорел, осталась память, прочная из-за обязанности знать и хранить родословную. Иначе быть не могло. Гордился ли он или стыдился кого из них, но все они составляли его прошлое, его корни в этой земле, в его жилах текла их кровь, в нем жили их гены, он был их продолжением.

Фамильной чертой и по отцовской, и по материнской линиям были поздние браки. Отец, Владимир Тимофеевич, родился в 1850 году, мать – в 1866 году, поженились они в 1895 году, то есть когда отцу было сорок пять, а матери двадцать девять лет. Он же, Николай, Колюша, родился в 1899 году, то есть еще в девятнадцатом веке. Обе бабки родились еще при Александре I. Одна из них умерла при Ленине – вот какой отрезок захватила! В имении деда жили три старика: повар, садовник и звонарь. Они еще дедом были переведены на пенсию, построили себе три избы и доживали там. Всех троих в 1912 году вывозили в Москву на празднование столетия Отечественной войны, наградили их бронзовыми медалями с надписью «Не нам, не нам, а имени Твоему!»

– ...Поскольку я в своем поколении был старшим, то первый к ним прилепился, они меня очень любили, я после обеда бежал к ним пить чай. Готовила им Надька, с их точки зрения девчонка, ей восемьдесят лет было, нянька моей матери. Тоже жила на покое. Я сидел, уши растопыря слушал их байки начиная с наполеоновских времен. Все это было ими пережито, весь девятнадцатый век, так что для меня это было как современность. История шла ко мне от людей, а не от книг...

В гимназии он живо почувствовал разницу в восприятии истории им и одноклассниками. Для них что Отечественная война, что Севастопольская кампания были одинаковой стариной,

а для него в Севастопольскую повар был уже пожилым человеком, служил казначеем в севастопольском ополчении, которое собирали по всей России...

Теперь могу признаться – слова надписи на медали я при случае проверил в Эрмитаже, в отделе нумизматики. Сперва специалисты сказали, что, очевидно, я перепутал: с подобной надписью медали давались сразу после победы участникам кампании 1812 года, серебряные и бронзовые. В столетие же, в 1912 году, медали были отчеканены с другой надписью. Я расстроился: одна неточность, другая – и рассказы Зубра могли превратиться в рассказы, тень подозрения могла покрыть многое. Я проверял для того, чтобы обрести уверенность. Мне нужна была уверенность. Я вернулся в Эрмитаж и попросил перепроверить. Они покопались в каких-то других справочниках и выяснили, что старикам солдатам, участникам кампании Отечественной войны, то есть тем, кому за сто лет, давали те самые медали 1812 года, их специально изготовили со старого штампа, сохраненного в Монетном дворе: «Не нам, не нам, а имени Твоему!» Рассказ Зубра подтвердился. Кроме поразительной памяти можно было положить на его добросовестность ученого.

По морской линии в предках у него были: адмирал Сенявин, тот, который кильватерную колонну выдумал; адмирал Головнин, который кругосветку плывал, у японцев в плену сидел; адмирал Невельской, который присоединил незаконно Дальний Восток к Российской империи, за что был разжалован Нессельроде.

– ...Почти разжалован! Почти! У этого Киссельворде – так у нас дома его звали – не получилось. А было так...

Какое счастье, что я хотя бы часть дослушал, записал... Когда-то отец мой пытался рассказать мне про его деда, моего прадеда, и про какого-то чудака дядьку, но мне было некогда. Мне всегда было некогда, когда речь заходила о прошедшем, в котором меня не было. Так я и не узнал ничего о своих предках, а теперь уже спросить не у кого. Позади, за детством, за отцовскими братьями и маминными молодыми польскими фотографиями, смутно шевелятся безымянные фигуры, а дальше – пустошь, холодные просторы опустевших земель и селений...

Глава четвертая

– Этот отличился в Турецкую кампанию восемьсот семьдесят седьмого – семьдесят восьмого годов на Черном море. Успешно применял мины против турецкого флота. У турок флот был новейший. Русские вместо торпед запускали паровые катера с шестовыми минами, которые надо было завести под корму или еще куда. Два добровольца, один обязательно офицер, другой – матрос, при попутном ветре разгонялись на полный ход против неприятельского корабля, который по ним, естественно, палил из всех пушек. Иногда они успевали его боднуть в бок бомбой. Она взрывалась и доставляла одним радость, другим – неприятности. Матрос и офицер мчались назад; если не успевали, то выпрыгивали и спасались вплавь. Так что они далеко не всегда погибали. Геройство лишнее у нас не поощрялось.

Так и произошло с моим двоюродным дедом, братом моего деда. Сам дед был одним из деятелей освобождения крестьян. Служил директором казенной палаты в Симбирске. Брат же его, моряк, был чудаковатый холостяк, однако офицер был превосходный. В данной истории взорвали они не какую-то посудину, а линейный корабль турецкого флота, вовремя сиганули в воду, потом выбрались на какую-то косу, спаслись. Наградили его золотым георгиевским оружием и офицерским Георгием четвертой степени – я его помню: белый тяжеленький крестик. Сделался он затем контр-адмиралом и наконец полным адмиралом.

Послали его с учебной флотилией по Средиземному морю. От порта к порту добрались они до Тулона. Стали там. Недалеко Ницца, Монте-Карло. Потянуло его туда, а как увидел рулетку, шарик этот журчащий, так решил рискнуть. Рулетка чем хороша? Это риск в чистом виде. Никакого умения, все расчеты исключены. Касаешься судьбы, выбор у тебя большой: можешь приблизиться к ней с любого бока... Психология играющих в рулетку – занятная штука. У многих людей эта страсть дремлет. Проснулась она и у моего адмирала. Человек он был небогатый по тогдашним понятиям. Жалованье адмиральское – и только. Министерское жалованье и то было небольшое. Мой отец, например, получал вдвое больше министра. А профессор получал вдвое, а то и втрое больше министра. Адмирал взял с собою все золотые франки, какие у него были, немного, и никак не мог их проиграть: куда ни ставит, все ему прибавляется. Бог игры взял его за руку и повел. Игроки знают такое наваждение. Тут не рассуждай и не отрывайся. Дошел он до редкого события – сорвал банк Монте-Карло. Сколько в точности – не помню, три миллиона или же пять миллионов франков. Одним словом, в этот день банк прекращает платежи, и вся музыка кончается до завтрашнего вечера. Выплатили ему деньги. Он послал длинную телеграмму моему деду, своему братцу: присмотри, мол, хорошее именье поблизости. И отправил сколько-то тысяч франков в задаток. Сам же пошел со своей эскадрой дальше. Он не был ни кутила, ни пьяница, но, приезжая в очередной порт, отправлялся в ресторан и открывал его для местного населения, чтобы пили и гуляли в честь российского флота. Будучи в Италии мальчиком, мы с отцом заставляли еще в портах людей, которые вспоминали, как один русский поил и кормил горожан. Так он добрался до Константинополя. Оттуда дед получил от братца телеграмму – вышли сто рублей. Все миллионы спустил. Было это в начале девяностых годов. Вышел в отставку высокопревосходительством. Я видел его в парадной форме. Ослепительное зрелище! С этой формой тоже был случай на моей памяти, в девятьсот шестом году.

В Калуге сидел тогда отвратный губернатор. Земцы с ним не ладили. Они старались завести ветеринарные пункты, чтобы присматривать эпизоотическое состояние бессловесных скотов, кормящих всяких словесных скотов. Губернатор же чинил им препятствия. Адмирал слушал, слушал жалобы земцев, которых мало уважал, да как закричит на них: «Что вы языками попусту чешете! Как так губернатор противится? Раз дело правое, значит, заставить его надо». Велел заложить карету четвериком, на козлы – кучер, на запятки – матрос его бывший

(он любил ездить по-старинному), а в карету приказал посадить полдюжины овец. И поехал в Калугу. Подкатил к губернаторскому дому. Там увидели, что вылезает полный адмирал во всем обличье, при всех регалиях, лентах. Доложили губернатору. Тот выбежал на крыльцо приветствовать. Высокопревосходительство вошел в переднюю. «Мне, – говорит, – сообщили, что ты против ветеринарных мер». На «ты» его, начальственно. «Надо, – говорит, – вводить пункты ветеринарные. Но раз ты против, привез я тебе, милейший, полдюжины своих овец, лечи их». Хлопнул в ладоши, и матрос загоняет их в губернаторский дом. Губернатор в ужасе. Лепечет, что неправильно его поняли. «Ну, раз неправильно – другое дело. От тебя только бумажка требуется. Присылай в ресторан, я там обедаю. Пришлешь?» – «Пришлю».

Адмирал погрузил обратно своих овец. Поехал разыскивать земских деятелей. Повез их в ресторан. Сидят выпивают. Является нарочный от губернатора с бумагой. Земцы обалдели...

Адмирала Зубр хорошо помнил и кончину его помнил. Отпраздновав свое восьмидесятипятилетие, адмирал привел все дела в порядок, огласил завещание и застрелился из револьвера системы «бульдог».

Кончено дело, зарезан старик,
Дунай серебрится, блистая.

Первая строка его излюбленной присказки произносилась с мрачным наслаждением, затем переход к радостному удивлению и хохот.

Глава пятая

– По случаю жары все участники семинара заходят в воду по горло, а докладчик – по пояс, – предложил Зубр.

Докладчик, Владимир Павлович, хоть и фронтовик и в те годы отнюдь не пожилой, пришел в некоторое смущение, счел это неуместной шуткой, более того – неуважительной по отношению к докладчику: слушание в воде – обстановка явно неподходящая. Происходило это в Миассове в девятьсот пятьдесят восьмом году. К такому еще не привыкли. По крайней мере, биологи. Тогда Зубр со всей серьезностью поставил вопрос на голосование: подходящая обстановка или неподходящая? Разумеется, большинством голосов признали, что в такую жару нахождение семинара в воде – вполне подходящая обстановка. После чего все слушатели разделись и полезли в воду – студенты и доктора наук, девицы и пожилые люди и сам Зубр. Докладчик хоть и остался на берегу, должен был разоблачиться до трусов. Свои графики он чертил мелом на опрокинутой лодке.

Из всех заседаний запомнилось более всего это, в воде. Запомнилось и самому Владимиру Павловичу, несмотря на то, что оно вроде бы шокировало его. Запомнилось всем участникам и его сообщение. Потому что – в воде. Хотя оно и само по себе заслуживало.

– После доклада он меня поцеловал. Это было посвящение. Я почувствовал: у меня отрасли золотые шпоры. – Он замолчал, пораженный какой-то мыслью, потом сказал: – Помните, в «Фаусте»: «Ты равен тому, кого понимаешь». Зубр был выше меня, потому что я его не понимал. Но дело в том, *как* я его не понимал. Так не понимал, что он был на две головы выше меня.

Владимир Павлович о себе достаточно высокого мнения. Он человек скорее скептический, чем восторженный.

Характеристики, которые он дает людям, едки и разоблачительны, а здесь... Я раздумываю, в чем же непонятность Зубра.

– Он обладал стратегическим подходом к биологии. Это так же, как если бы я, мысля на уровне командира батальона, пытался понять мышление командующего фронтом.

Снова он вернулся к тому поцелую, которым гордился не меньше, чем фронтовыми орденами.

По вечерам на берегу Можайского моря устраивали костер и большой общий треп. Главной труппой был Зубр. Он заставлял выступать старых профессоров, докторов и прочих мэтров. Кто о чем: о своих путешествиях, о картинах Рериха, о женской красоте, о стихах Марины Цветаевой.

В желтом танцующем свете костра совершались превращения: некоторые известные, заслуженные ученые оказывались бесцветными рассказчиками, многословными, лишенными собственных мыслей. Они сообщали вещи банальные, от приближения эти люди проигрывали. Выйдя из храма науки, жрецы становились скучноватыми обывателями. Но были и такие – чем ближе, тем интереснее. Были сочинители весьма неплохих стихов, были остроумцы, были талантливые рассказчики, были знатоки истории. Тем не менее все это рано или поздно приедалось, и тогда обращались к Зубру, упрашивали его что-нибудь рассказать о себе. Жизнь его казалась неисчерпаемой...

Глава шестая

Наступали на юг, он был рядовым красноармейцем 113-го пехотного полка, потом военное счастье перевернулось, и они стали отступать перед «дикой дивизией», как называли мамонтовские части. Его назначили командиром взвода. Командовал он недолго, подхватил сыпняк. Его пришлось оставить на каком-то хуторе. Полк его расколошматили. Он лежал без призора не помнит сколько. Зима еще держалась. В бреду он выскакивал наружу, на снег. Мимо проходила красная воинская часть. Хозяин хутора постарался сбыть его. Санитары взяли его и, как тогда выражались, «ссыпали» на сыпной пункт, то есть на солдатский сыпнотифозный пункт. Разместился пункт на сахарном заводе километрах в двенадцати от Тулы. Лежали вповалку и командиры, и красноармейцы в главном заводском корпусе. Окна были выбиты. «Ссыпали» туда солдатиков сыпнотифозных, брюшнотифозных, с возвратным тифом, с пятнистым тифом – со всеми тифами; а также контуженных, простуженных и прочих. В конце концов все получали тот или иной тиф в придачу к тому, с чем их привезли. Около двух тысяч лежало там. Колюша наш выжил прежде всего потому, что крепок был исключительно. Кроме того, по его теории еще и потому выжил, что лежал у самого окна, на морозце. Уход за сыпнотифозными, поскольку врачей не имелось, заключался в том, что через день приезжали на санях солдатики, привозили свежих сыпняков, забирали очередные трупы, сваливали их рядками на свой транспорт и увозили. А заодно с больными привозили по два ведра на каждый зал «карих глазок». Суп варили такой из голов и хвостов воблиных. Сама вобла шла куда-то, видно воюющим солдатам, может, в детские сады, в детприемники, – кто его знает, а вот обрезки кидали в суп, туда же добавляли чуток пши, была такая дальневосточная дикая культура вроде проса. В Москве из всех каш была пша. Осточертела она всем до предела, поговорку даже переделали: тля ест травы, ржа – железо, а пша – душу.

Ведро с «карими глазками» ставили у входа, и проблема была – доползти, ибо сил не хватало. Когда Колюша оклемался, почувствовал он голод, зверский аппетит. Вернее, так: почувствовал голод и понял, что перемогся, не помер. Слабость была ужасная, сил хватало только на то, чтобы на брюхе, крокодиллом, переползать между больными. Подползал к покойничку, у солдата над головой в вещевом мешке всегда какая-нибудь жуйка хранится. Пошарит, пощупает – глядишь, корочку нашел. Сосал. Грызть сил не было. Потом добирался до ведра. Надо было подняться, чтобы мордой залезть в ведро. В зеленой водице плавали вываренные воблины глаза, кругленькие, со зрачками, потому и назывался супок «карие глазки». Сухая корочка да «карие глазки» – вот чем душа держалась, не отлетала. Возможности человека в смысле голода велики, голодать человек может долго, если не паникует.

Начальствовала над этим учреждением сестра милосердия. Время от времени она появлялась, как фея, в красных резиновых сапогах, поверх шубки – белый халат. Заглянет в зал, заплачет и уйдет. Ни лекарств у нее, ни санитаров. Случилось как-то раз – дошла она до Колюши. А он уже шевелил руками, двигался. Вокруг трупы. Ну она, естественно, обратила внимание на живого. Спросила:

– Ты кто?

Колюша докладывает: так, мол, и так, воюю краснопупом, а был студентом-зоологом Московского университета.

Студенту она очень обрадовалась и сообщила, что она тоже студентка-медичка из Москвы, мобилизована.

– Очень у нас тут ужасно. – И опять слезы побежали.

Колюша утешает ее: бывает, мол, хуже. Конечно, не сладко, конечно, жалко людей, но вот он, например, выжил! Теперь задача не загнуться от голода. Жрать охота до безумия. Может, он и добыл бы пропитание, но подняться не в силах. Пока до «карих глазок» доползет, измучается.

– Ну это, – говорит она, – я вам помогу, это я сейчас.

И принесла ему котелок гущи, корочку какую-то. У Колюши друг-приятель был, Шура Реформатский. А у того сестры тоже медички-студентки. Так что общие знакомые нашлись. Милосердная сестрица с того дня приносила кусочки клейкого хлеба из жмыха. Видно, часть собственного пайка отдавала. И Колюша стал быстро поправляться. Только его организм мог на таком рационе ожить и сил набирать. К стенке спиной прижмется и, помогая руками, всплывает, поднимается. Стоял на дрожащих ногах. Сестрица брала его под руку, несколько шагов он делал. Потом сам ходить стал, держась за стенку. В один прекрасный день сестрица принесла ему бумагу и литер: «Красноармеец такой-то, перенесший сыпнопятнистый тиф, отправляется для поправки на шесть недель домой».

Были у нее на руках еще бумаги такие же на одного возвратника, то есть больного возвратным тифом по фамилии Сергеев. Вроде он выздоравливал, выписывался, а ночью умер.

– Возьми, – предложила она, – тебе пригодятся.

И действительногодились.

На следующий день с рассветом отправился Колюша пешком в Тулу. Одолеть пятнадцать километров для него было – что отправиться за тридевять земель. Спотыкался, падал, а упав, полз до забора, до дерева, потому что на гладком месте встать не мог. До Тулы добрался к ночи. Пятнадцать часов полз эти пятнадцать километров.

В Туле он знал лишь казармы 113-го полка, где квартировал однажды. Туда и побрел.

В своих рассказах о той поре Зубр ничего не обходил, не выгораживал себя. Что было, то было, не снисходил к объяснению того времени и тех обстоятельств. Воровал, мошенничал, побирался – только что не злодейничал.

Начал он воевать с берданкой 1868 года (как тогда величали ее – «пердянка»), а кончил как-никак с кавалерийским карабином. Отличная по тем временам штука – шестизарядная, надежная, а главное дело – легкая; он с солдатской нежностью вспоминал ее. Раздобыл он ее у какого-то деникинца из «дикой дивизии». Всю Гражданскую войну он улучшал себе оружие. Был казачий карабинчик, был германский, под конец достался этот, деникинский, японский. Когда в тифу лежал, все прижимал к себе свой карабин, боялся без него остаться. Полные карманы обойм сохранил.

Ничего не меняется, слава богу, в человеке. Солдат он всегда солдат. Тридцать лет спустя, на моей войне, я также старался добыть себе автомат. Выменивал на свою семизарядную. Сперва ППШ, потом достался мне ППД... Чисто солдатское стремление. На войне кроме стрельбы, атак и обороны идет еще мена, торговля, всякие бесхитростные комбинации. Кто-то загоняет полушубок, меняет белье на консервы, кирзу на хром. Сколько разных коммерций в маршевых ротах, в госпиталях совершалось, как хвалились удачливой меной. Хвастались друг перед другом своей ловкостью, умением смухлевать, переторговать, махнуть не глядя. Это так же, как храбрый солдат любит рассказывать не про подвиг, а как оробел при бомбежке, как растерялся. В палате из всех фронтовых баек, а их там травят день и ночь, большая часть про то, как драпал, как на мины напоролся, как сплоховал, под наказание попал.

Колюша тоже никогда не расписывал свои доблести, все больше про то, как вляпался в плен к бандитам, как в курицу стрелял.

Добрался-таки, вполз в храпящую духоту ночной казармы и – к дневальному, что кемарил у ночного фитилька. Умолил пустить переночевать. Тот вертел, вертел бумаги, позволил прилечь рядом на топчане. Прилечь Колюша прилег, но спать не мог. Тело болело, ноги ныли. Разговорились. Колюша рассказал, что идет в отпуск, в Москву. Дежурный оживился, и у него сон пропал. Был он коренной москвич, портняжничал на Смоленском рынке. Колюша обрадовался: соседи! Он-то жил рядом. Подымили. Дежурный завидовал – в Москву вернется. Насчет «вернется» Колюша сомневался: как ползти, неизвестно, ноги не держат, руки не берут, на чем

добираться, пропадет он, не одолеть ему дороги. Вспомнил он тут про добавочный документ покойного Сергеева. Показал бумагу дежурному. Тот посмотрел ее на свет, так и этак повертел.

– Замечательный документ, много стоит, – заключил он. Повздыхал, остороженько примерился: сколько запросит за такую бумагу. Колюша открылся напрямую:

– Бери задаром. Одно условие – не бросай меня. Будь я здоров, я бы не глядя отмахал пешим эти двести верст до Москвы. Ныне в товарный вагон самому и то не влезть. Помоги мне добраться.

Взял с него Колюша клятву, и тот, как ни уклонялся, жуликовато зыряка глазами, вынужден был повторить про смертную лихорадку, что найдет на всех родных, про сепсис ног и лишаи – самому себе, если обманет, бросит... Сепсис наибольшее впечатление произвел на Петю Скачкова – так дежурного звали.

– Ни за что не обману. Мне только моих проведать. – И Петя бил себя в грудь. – Ты ведь мне подарил, себя обделив, за такую бумагу дом в Москве купить можно.

– Да зачем мне дом? – удивился Колюша. – Лучше хлеба в дорогу раздобудь.

Про хлеб он так уверенно сказал потому, что недавно из этих же казарм Колюшу посылали на охрану хлебных вагонов. Охранять-то их охраняли, но голод не тетка – наламывали себе корок хлебных, да впрок. Изнутри шинели нашивали карманы глубокие, куда корки опускали. На это Петр Скачков отвернул полу своей шинели, где такой же карман был нашит. Выходит, нынешний состав «своим ходом» добрался до такого же «органа». Сильно поразила тогда Колюшу эта способность следующих поколений изобретать в точности то же самое, приобретать те же «органы».

Скачков отправился на промысел. Колюша же со своим карабином уселся в казарме дежурить. Часа через два, до побудки, Скачков вернулся, притащил мешок хлебных обломков, где-то еще спер два ломтя шпика и тяжелый кус спекшейся на пожаре соли.

– Лучше всего мотать сейчас, – предложил он. – Я уже присмотрел на путях не шибко разбитый вагон.

Пришли на товарную станцию. Там, где надо было пробираться под эшелон, Скачков тащил Колюшу за шкирку. Поднял в товарный вагон. Разместились с подветренной стороны по ходу. Скачков побежал раздобыть буржуйку: весна стояла холодная, утром лужи хрустели. Буржуйку где-то стащил, досок наломал от забора. Устроились солдатики совершенно замечательно. Буржуйку калили нещадно, благо тяга на ходу была исключительная. Кипяточек – в любое время, хлебушком заедали да еще сальце сверху. Скорость была километров сорок в сутки. До Москвы неделю тащились. Вышли на площадь – все на месте: Казанский вокзал, Николаевский, бабы в ряд сидят с корзинками. А в корзинках – семечки, печеная картошка, лепехи. Москва! Счастье-то какое! Извозчики стоят. В цилиндрах, важные.

Колюша прицокнул языком, подмигнул, предлагает:

– Давай найдем? Въедем в стольный град на коне.

– Это на какие же шиши найдем?

– А за кусок сала.

Выбрали, у кого лошадь белая. Ну не совсем белая, чалая была.

– Ты сало любишь?

Извозчик на них сверху прицелился.

– Сало в Москве не растет.

Показали ему большой шматок.

– Хочешь? На Смоленский рынок нас, только чтобы рысью.

На рысях, на чалом коне, ехали они, стоя в пролетке, до самого дома в Никольском переулке.

У матери в доме была благодать. Работало центральное отопление. Несмотря на разруху, газ подавали. В ванной была горячая вода, и Колюша три дня лежал в ванне, отмачивая грязь

госпитальную, копоть паровозную, наслаждался покоем, превращался, как он говорил, в недо-резанного буржуя.

В ту пору он был для всех Колюша. Во многих старых московских семьях и до сих пор его зовут Колюшей. Когда я «завожу» на рассказы о нем, то и дети, и внуки повторяют: «Колюша, Колюша», что мне странно, поскольку я узнал его могучим Зубром в мерцающем ореоле славы и легенд, свойственных великим личностям.

Глава седьмая

Это началось в Гражданскую войну и в послевоенные годы. Военный коммунизм, нэп – годы, дух которых мы знаем меньше, чем дореволюционную жизнь. Пушкинскую эпоху, Екатерининскую, даже, может, Петровскую представляем себе лучше, чем парадоксы двадцатых годов.

– Повоюем немножко, отгоним беляков, отдохнем, снова повоюем, а как часть нашу разобьют, возвращаюсь в Москву, в университет, к своим рыбам, в кружок, которым тогда увлекался: логико-философский с математическим уклоном. Потом опять в армию, катим на фронт. Потому что стыдно – все воюют, а я как бы отсиживаюсь. Надо воевать! Постигнуть мозаику той жизни вам не дано. Неделю занимаешься какой-нибудь Софией Премудростью Божией, на следующей – едешь на деникинский фронт...

Не будем приукрашивать: Колюша шел в Красную армию не из политических убеждений. Не было этого. Политика не затрагивала его глубоко ни в юности, ни позже. Политические убеждения, как он полагал, есть у коммунистов и беляков. Коммунистом он не был. Беляком тоже. У беляков всяких мнений-убеждений, как он насчитывал, было не менее пятнадцати: и монархия абсолютная, и ограниченная, и диктатура, и буржуазно-демократическая республика одного типа, другого, третьего... У Колюши и близких к нему людей убеждения были не политические, скорее патриотические. Чего это на Россию лезут всякие прохвосты – зеленые, белые, бурые, казаки, поляки, французы, японцы, англичане, антанты и прочие оккупанты? России нужна народная власть. Всю жизнь Колюша упрямо считал, что именно из-за этого первичного чувства их, голоштаных, разутых краснопухов, вооруженных однозарядной «пердышкой» образца 1868 года, не могли одолеть ни беляки, ни их союзники, вся эта шатия.

Насчет разутых – не случайно. В 12-й армии его зачислили в особую лыжную роту 17-го отдельного батальона. Лыж там и в помине не было. Дали им лапти. Да не липовые, как положено, а из ивовой коры, совсем негодные лапти, непрочные и жесткие. Вот так жизнь эта невероятная и шла: «то воевали, то философствовали, то добывали себе чего-нибудь пожрать».

В смысле «пожрать» он устроился на одно лето пастухом. И был счастлив, ибо убедился, что это лучшая профессия в мире. Во-первых, заработал за сезон во много раз больше ординарного профессора Московского университета. (Тогда профессора разделялись на ординарных и экстраординарных.) Получил натурой два куля ржи. А куль – это семь пудов! Во-вторых, ходил в одежде, которая была выдана: куртка, ватой подбитая, да еще на красной подкладке, очень живописный был вид: пиджак, двое порток получил, сапоги. Подпaska имел, собаку. Кормился «в очередь». Утречком он собирал коров песней. Шел по деревне, распевая «Выйду ль я на реченьку», и под эту песню вел их. Двустволочка за плечами – это он гусей диких бил. С приятелем, местным фельдшером, наловчились они валерьянку – а у того было ее две четверти – превращать в спирт. Перегоняли. И гусей запивали этой жидкостью. «Великолепная была жизнь!» На интеллигентную умственную работу устроиться было невозможно. Деньги в цене падали катастрофически. Счет шел на «лимоны», то есть миллионы. Заработать можно было физическим трудом.

Логико-философским кружком руководили Густав Густавович Шпет, смущая умы неслыханными парадоксами, расшатывая самые незыблемые основы этого мира, и Николай Николаевич Лузин, который, будучи крупнейшим математиком, умел находить в ней философскую мысль. Были там философы Сергей Булгаков, Бердяев, которого кружковцы прозвали Белибердяевым. Семен Людвигович Франк читал пронзительно-напевным голосом: «Искусство есть всегда выражение. А что такое выражение? Это самое загадочное слово челове-

ского языка. Скорее всего, оно означает отпечаток. Процесс отпечатывания чего-то в другом. Что-то незримое, духовное таится в душе человека; он имеет потребность сделать это зримым, явственным... Духовное облекается плотью. Но что именно он хочет выразить? Не только себя, а нечто объективное. Что это за “нечто”?»

Из философствующего отрока Колюша превращался в добросовестного зоолога, готового день и ночь возиться со всякой водной нечистью, изучать ее, описывать, довольствуясь скромным положением ученого-ихтиолога. Превращение естественное, но с такой же легкостью он превращался в лихого вояку. Руби, коли, вперед, за власть Советов! – и ничего не оставалось от старательного студента. Можно подумать, что в нем вскипала кровь его военных предков.

Чтобы заниматься в университете, надо было где-то прирабатывать, чем-то кормиться. Кем только он не перебивал!

Однажды удалось устроиться в артель грузчиков при «Центропечати». И на такую работу попасть – требовалось знакомство немалое. Устроил его ни много ни мало управляющий делами Совнаркома Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич. В революционные дни 1905 года одна из теток Колюши прятала Бонч-Бруевича от полиции. Вот он, желая отблагодарить ее, устроил племянника на хлебную работу. Артель упаковывала газетную бумагу, грузила книги, брошюры. Издавались они тогда активно: «Азбука коммунизма», «Анти-Дюринг», буквари, Конституция – типографии работали вовсю, бумаги было много, и рассылали книги по всему отечеству. За всеми этими грузами приезжали уездные и губернские комиссары. Грузчики получали дополнительные карточки – по четверти фунта хлеба. Из управделами Совнаркома отпускали на каждого рабочего артели по три обеденные карточки в третью столовую Совнаркома, которая помещалась в «Метрополе». Три тогдашних обеда, конечно, молодой организм грузчика не насыщали, но все же это было серьезное дополнение к карточкам. Так что грузчик была должность выгодная, максимум, о чем мог мечтать начинающий ученый. Артель, однако, находила и другие способы подкормиться. Пока грузили тюки – а артель не слишком торопилась, – из машины, стоящей под погрузкой, один мальчонка украдкой откачивал в артельный бачок «автоконьяк». В те времена грузовики в Москве работали на смеси газаolina со спиртом. На Сретенке был извозчичий трактир. Там по-прежнему кормились извозчики да еще шоферы машин, какие ходили тогда по Москве, – не очень-то их было много. Являлась туда и вся артель грузчиков, человек двенадцать, хозяин получал бачок с «автоконьяком». Пьяницам выдавал по рюмочке. За это грузчики получали по тарелке суточных щей с убоиной (мясо тогда называли убоиной) и кусок настоящего хлеба. Наевшись, Колюша отправлялся в университет к своим работам либо же – в кружок, где что-то вещал Брюсов, читал Андрей Белый. А то бежал слушать курс лекций Грабаря по истории живописи; от Грабаря – на лекции к Муратову, от Муратова к Треневу – о древнерусском искусстве, о фресках. Все хотелось знать, постичь. Привлекала красота словоречий, ускользающий их смысл, зыбкие формы... Довольно глубоко погряз он в этих вещах. Грыз, грыз всю эту философию и искусствоведение, пока не убедился, что это «пустое бормотание», что нельзя менять прелестных водных тварей на такое суесловие.

Поэтому он стал биологом, а не искусствоведом. Хотя навсегда сохранил интерес к истории живописи, истории описательной, без всяких выкрутасов, что помогала узнать, когда и что происходило на белом свете, какой художник что делал, чем хорош, что придумал...

Глава восьмая

Здесь у автора записей обрыв, и затем ни с того ни с сего следует рассказ про денатурат. К чему это было рассказано, теперь трудно установить. Автор, то есть я, записывал кое-как, наспех, что записывал, а что и не записывал, слушал развесив уши в свое удовольствие, забыв про обязанности. О чем-то спорил с Зубром, пытался себя показать, вместо того чтобы делать то, что положено писателю – слушать, запоминать, записывать. Тут автор хочет пожаловаться на себя, поделиться своей запоздалой печалью. Если бы автор скромно хотя бы несколько лет просто-напросто записывал то, что он видел, слышал, – это стоило бы многих его сочинений. Подобные дневники автору никогда не встречались. Немногие люди, которые ведут дневники, обычно заносят в них вещи, стоящие упоминания, события, с их точки зрения, более или менее значительные. Им кажется недостойным записать разговор женщин в магазине, про обед в столовой, про то, как проходило родительское собрание в школе, о ценах на рынке... Но откуда нам знать, что стоящее, а что нестоящее?

«Денатурат был зеленый, керенский...» Фраза эта интересна тем, что вся принадлежит тому времени. Никто из нас не знал, что денатурат был когда-то зеленым, и не знал, что деньги – керенки, выпущенные Временным правительством, были тоже зеленые.

Подмешивался к денатурату рвотный камень или еще какая-то дрянь. Во время войны Россия жила по сухому закону. В складах скопились водка, спирт, а также денатурат. Такие склады имелись в Кашине, неподалеку от госхоза, где Колюша пастушил. Когда начали громить склады в Кашине, селяне откомандировали на погром старого рабочего-активиста Ивана Ивановича и пастуха Колюшу. Снабдили их подводой и кувшинами. В Кашине творилось столпотворение вавилонское.

Красноармейская команда сперва попробовала было спускать водку на землю. Пооткрывали краны, водка течет и на улицу. Пьяницы накинудись на эти водочные лужи. Бабы ложились и черпаками эту грязную жидкость сливали в посудины. Колюша и тут научно подошел, убедил Ивана Ивановича, что к водке соваться нет большого смысла, надо пробраться к спирту. Но их не пустили. Тогда они свернули к денатуратным запасам, благо денатурат тот же спирт. Заполнили свои кувшины этим «зеленым змием». Выбрались оттуда с боем. Смертельный был номер: кольями и ломом пробивались. Хорошо, что успели до подхода вызванной латышской части. Чуть не убили Колюшу. По глупому этому делу могли прихлопнуть как муху. Потом он научил селян, как очищать денатурат от всякой гадости. Но, естественно, перегонные аппараты, какие он сделал, накапывали медленно. Так что от сплошного пьянства, можно сказать, он уберег.

Характер его жаждал нахлебаться всякой всячины, прежде чем укрыться в тиши лаборатории. Как будто он знал о том, что ему предстоит. Юность его не была похожа на юность ученого.

Он мог сделать карьеру пением. Несколько раз судьба подкидывала ему такой соблазн.

Когда он после сыпняка вернулся в Москву, им в квартиру в порядке уплотнения вселили неких Эгертов. Сам Эгерт, бывший церковный регент, ныне руководил красноармейским хором. Эгерт, услышав, как Колюша распевает в ванной, стал уговаривать его пойти в первые басы. Тем более что Колюша хоровому пению был обучен. Пел в гимназии, пел в церковном хоре, пел он и в университете в Татьянин день – был такой студенческий праздник. Хор Колюша любил беззаветно. Где только можно присоединился к нему, у себя в Калужской губернии пел в городском серпейском хоре. Солистом быть не стремился, нравилась ему именно хоровая слитность. Во всем индивидуальность, а тут – вот что любопытно – влекла его сообщность хора, где ты неотделим от других, сам не слышишь себя в мощном единстве голосов, где нет тебя, есть – мы.

Красноармейский хор был чисто мужским, без альтов и дискантов. Получали хористы два красноармейских пайка, что равнялось фронтовому пайку, на него могли существовать и мать, и две сестры.

К тому времени отпуск по болезни кончился. Для перевода в окружной красноармейский хор Колюша явился в комендатуру со своим японским карабином и сумкой обойм. Долго стоял в подъезде, поглаживая карабин, прислоненный к щеке. Не утешила и благодарность от начальства – его тогда повели к коменданту Москвы как образцового красноармейца, который в тифозном бреде сохранил свое оружие, патроны.

– Почему вы сдали свой карабин, если он вам так был дорог? Ведь тогда можно было оставить.

– Можно-то можно, но ведь приказ был сдавать.

Для него приказ был приказом, закон был законом, правильный, неправильный, но исполнять надо, раз это закон. Странная законопослушность бунтаря.

Бас у него был редкий по красоте. Не знаю, как насчет солиста, но в хоре Колюша считался незаменимым. Голос и музыкальный слух помогли ему в жизни не раз, порой выручали. Своим голосом пользовался он с юности. В 1916 году уговорили его Грабарь и Муратов «бублики» собирать. «Бублики» – это раскольнические иконы. После Петра во времена Николая I снова пошли гонения на раскольников, и приказано было иконы у них отбирать. Для этого в уголке иконы просверливали дырочку, нанизывали иконы на веревочку и сдавали этот «бублик» церковному ведомству. Колюше было поручено ехать по Карелии собирать эти «бублики» по монастырям и церквям. Финансировали его по всем правилам, и экспедиция отправилась по Ладоге, затем по Онеге до Кандалакши на лодках, пешочком. Приходят они в деревню, чаевничать начинают, ну он и пропоет что-нибудь из репертуара калик перехожих:

Ай да книга та голубиная,
А и в книге той девяти сажен...

Особенно, если какая поповна на гитаре играет, он ей – романсы, она им – «бублики».

В детстве он просился, и его возили в Мосальск. Там в монастыре два раза в год, на Троицу и осеннее заговенье, архиереи со всей России съезжались – басовитых протодьяконов выбирать. Классические дьяконские басы были в Новозыбковском монастыре и – рядышком с Тимофеевыми – в Мосальском. А еще он слушал богомольцев, что шли мимо них, брели к соловецким угодникам на север и к киево-печерским – на юг. Распевали они духовные песни.

Песен духовных знал он множество, и не было ничего интереснее, чем когда где-нибудь в биошколе, у костра, на Можайском море, а то в Миассове, на Южном Урале, он вместо обычных туристских брэнчалок затягивал старинные, никому не ведомые песнопения.

«Ныне отпускаеши...», «Да исправится молитва моя...» – заводил он с самых низов. И вдруг переходил, скоморошничая:

Десять чинов ангельских,
Столько же архангельских.
В трех лицах един Бог,
Он на небе царствует,
На земле господствует,
Королевствует над нами.
Подайте слепенькому
Христа ради!

Михаил Васильевич Нестеров и Иван Флорович Огнев водили его, юнца, слушать хороших дьяконов ко всенощной. Как запоет дьякон, так Иван Флорович проверяет, откуда начинает «Апостола»: если не с самого нижнего до, то это мальчишка. Хороший дьякон две с половиной октавы брал, доходить должен был до ми-бемоль, даже до фа.

Кто они такие были, эти старики? Нестеров Михаил Васильевич? Не художник ли? Об этом спохватываюсь я сейчас, проверяю имя, отчество. Действительно он, художник, один из любимейших моих художников. А Огнев Иван Флорович? По энциклопедии это известный русский гистолог, уволенный в 1914 году из Московского университета реакционным министром просвещения Кассо. Выходит, они дружили, Нестеров и Огнев, и каким-то образом судьба свела их с Колюшей. Ходили вместе, втроем, по московским церквам. Что они нашли в этом юнце? И что, кроме дьяконского пения, их связывало? Ведь Нестеров в ту пору – уже овеянный славой художник... Десятки вопросов возникают у меня. Слушая в свое время Зубра, не остановил его, не расспросил. Слишком поздно я спохватился. Чем больше я углубляюсь в его жизнь, тем чаще наталкиваюсь на свои упущения.

Глава девятая

– Почему вы, имея такой голос, пошли в науку?

– Да потому что тогда этих паразитов, научных работников, было немного и большого вреда своему отечеству они не приносили.

Что, выкусил? Зубр хохочет. Так всегда: от него невозможно получить ожидаемый ответ.

– В двадцать первом – двадцать втором годах времени у меня было мало. Мы не считали допустимым зарабатывать деньги с помощью науки, зарабатывали работой.

Чем же он занимался? Чинил жнейки, косилки и прочие машины, у деревенских прирабатывал. Это – летом. Зимой лекции читал. Уговорили его преподавать зоологию на Пречистенском рабфаке, только что организованном. Это была одна из первых просветительных затей московской интеллигенции, которая, кое-как отойдя от голодухи, стала по-своему помогать революции. Огромный был рабфак, чуть ли не двадцать пять тысяч народа. Собрали, чтобы готовить для высших учебных заведений рабочих, демобилизованных солдат. Рабфак давал ему кое-какое жалованьишко и небольшой паек. Жалованье ничего не стоило по той причине, что равнялось оно примерно трамвайному билету, а трамваи не ходили. Московская жизнь 1920–1921 годов еще не устоялась, не наладилась. Смоленский рынок, поблизости от дома Тимофеевых, пустовал. Недавно еще шумный, крикливый, он тянулся заколоченными ларьками. На замусоренной площади среди шелухи, бумаг, навоза бродили старушки, старички в пенсне, стыдливой скороговоркой предлагали на продажу всякие малонужные вещи: кофемолки, вечерние платья из черного газа со стеклярусом, желтые бумажные розы, мундиры со споротыми погонами и галунами. Попадались и горбушки черствого пайкового хлеба, куски мыла, серые куски рафинада в синей бумаге, осьмушки, а больше пол-осьмушки махорки.

Чтобы еще заработать на пропитание, стал он читать лекции по клубам – зоологию с революционным уклоном. За это давали красноармейский паек. Однажды привезли его в Центральный клуб Красной армии. Ждала его огромная аудитория, тысячи полторы человек, командиры и жены командиров. Выясняется, что объявлена была лекция о Великой французской революции. Чего-то начальство перепутало. Колюша руками развел: он – штатный лектор по биологии, при чем тут Бастилия, Конвент и всякие якобинцы? Завклубом за голову хватается: «Что делать? Выручайте Христа ради!» Колюша – ни в какую.

Кто-то вспомнил, что в клубе имеется коллекция художественных диапозитивов по истории живописи и архитектуры. Что если подобрать из них диапозитивы по эпохе Французской революции?

– Это другое дело. – Колюша оживился. – По живописи я кое-что могу, между прочим, я интересовался стилями, всякими рококо, барокко. Давайте так назовем: «Смена стилей в архитектуре и живописи Европы в период Великой французской революции».

Кто бы мог подумать, чем кончится его сочувствие к заведующему клубом? Лекция прошла благополучно и закончилась успехом. Он вдохновенно сменял стили, соединял их с революцией. А это привело к тому, что вскоре его как всесторонне образованного товарища назначили председателем культпросветкома Центрального управления снабжения Красной армии. Мало того что еще один паек выделили, так дали ему коляску с двумя скотами и кучера, что вполне равнялось автомобилю.

Зрелище было довольно комичное: Колюша садился с портфельчиком в экипаж, и везли его в университет, где он занимался своими рыбешками, слушал лекции, потом его везли в контору, а потом он сам читал лекции.

Из всех возможных занятий наука была самой невыгодной. Научная работа не давала ни пайков, ни денег, ни славы. В науку в те годы шли немногие. Мало сказать бескорыстные, вдобавок еще – чудачки. Или чудики. От этого и укрепился образ отрешенного, одержимого своей

наукой, своими букашками, пробирками, формулами отшельника. В науку шли ради самой науки, исключительно подчиняясь древнему, неведь зачем возникшему инстинкту любознательности. Так что ответ Зубра на мой вопрос, почему он занялся наукой, не такой уж ернический.

Отметим, что перед Колюшей распахивались двери в многообещающие кабинеты с высокими креслами. Молодой, пришедший с фронта красноармеец, образованный и в то же время не царский спец какой-нибудь, неокончивший студент. А в те времена «студент» звучало почетно: что-то передовое от разночинцев, от демократов сохранялось в этом звании. Так что он мог продвигаться, и быстро, в большое начальство. Коляска катила его по этой дороженьке легко, весело, на мягких рессорах. Связи у него хорошие были, и родители терпимые по тем, старым понятиям: отец хотя и дворянин, но инженер-путеец, не фабрикант, не буржуй, такие помогали революционерам. С Кропоткиными родственник. Язык подвешен что надо, а для того времени ораторские данные – существенное преимущество. Словом, он вполне годился для быстрого восхождения. То было время молодых, горластых, отчаянных. И нужно было сильное и точное призвание, чтобы удержаться от соблазна. Тем более что искушал не грех, не дьявол, его манил народный порыв к культуре, к грамотности. Только что отгремела гроза революции, и чистый воздух надежд пьянил куда более опытных людей, чем Колюша. Он же направляется с утра на своей коляске в университетскую лабораторию, без стеснения подкачивая к подъезду, куда тянутся пешим ходом маститые профессора и академики.

Оговоримся сразу: не было у него никаких терзаний. В заслугу ему нельзя поставить преодоление искусов. Он не делал выбора, не искал своего пути, после всех заходов, зигзагов он спокойно возвращался на него, как возвращаются домой.

Глава десятая

Его учителем был знаменитый Николай Константинович Кольцов, тот, кто разработал некоторые главнейшие принципиальные положения современной генетики, экспериментальной зоологии, тот, кто создал, выдвинул, основал и так далее и тому подобное; список заслуг Кольцова велик и бесспорен. А у Кольцова был свой учитель – тоже выдающийся зоолог, Михаил Александрович Мензбир, основатель русской орнитологии и зоогеографии, яркий пропагандист учения Дарвина. А у Мензбира были свои учителя, и главный из них – Николай Алексеевич Северцов, который опять же основоположник экологии животных, науки, разработанной впервые им вместе с его учителем Карлом Францевичем Рулье. В истории он известен как «замечательный зоолог, выдающийся теоретик биологии, создатель первой русской школы зоологов-эволюционистов». По этой цепочке можно идти далеко, от колена к колену, от одного замечательного к другому не менее замечательному, ибо мы напали на счастливый случай. Не у каждого ученого есть столь знатная родословная. Научное генеалогическое древо Зубра раскидисто, велико и почетно. Оно не менее славно, чем его дворянское древо, – ветвистое древо биологической школы, к которой Колюша принадлежал, обеспечило его хорошим происхождением и наследственностью, первоклассными традициями. Революция не прервала, не нарушила научную родословную. Профессора остались профессорами, карпы карпами, морской рачок вел себя так же, как и при Романовых.

Честно говоря, Колюша любил хвалиться своими предками и по материнской линии, и по отцовской. Но рассказы о них не выдерживали никакого сравнения с его рассказами о Кольцове и Мензбire, которого он застал ректором Московского университета.

Насчет Кольцова, что он был за человек, существуют бесспорные, всеобщие определения: талантливый, чрезвычайно работоспособный, порядочнейший. Далее мнения расходятся. Для Колюши наиболее существенным было то, что Кольцов – дивный зоолог. Хороших зоологов мало. Хороших математиков, физиков, химиков – этого добра хватает. А вот зоологи, да еще хорошие, наперечет; их нужно больше, как хороших людей, тем более что, как правило, они действительно хорошие люди. По глубокому убеждению Колюши, зоологи отличаются от прочего образованного человечества тем, что они в среднем лучше.

Начинал Кольцов как сравнительный анатом. Первая его студенческая работа была о лягушке. А первая взрослая – о голове миноги. Так что он по своему происхождению, как и Зубр, – «мокрый» зоолог. Работа о голове миноги сразу стала классической. От многообразия морской фауны Кольцов перешел к форме животных – почему у животных такие формы, а не другие – и далее перешел к форме клеток.

Значение Кольцова выходит за пределы генетики. Школа Кольцова была шире, чем ее понимают. Это хорошо втолковал мне Г. Г. Винберг:

– Кольцов начал экспериментальную биологию, организовал институт, который так и назывался – экспериментальной биологии. Это сейчас кажется само собой разумеющимся, а тогда, в девятьсот семнадцатом году, было в этом необычное, даже странное. Вся биология девятнадцатого века была описательной. Экспериментальное направление Кольцова вызвало иронию у профессуры. Он начал с приложения к биологии физической химии. Клетку можно было изучать живой, помещать ее в разные среды и так далее. Много надежд породил такой новый подход.

Сам Винберг не прямой ученик Кольцова, скорее «внучатый племянник». Он – ученик Скадовского, который был учеником Кольцова. Но Кольцова он видел, знал и говорит о нем без восторженности, к которой я привык. Суховато-скрипучий голос его иногда оживляется смешком, не причастным к словам. Что-то, видно, вспоминается помимо рассказа. Пока что он

сообщает милые подробности о рисунках на доске, которые Кольцов делал цветными мелками с большим искусством.

– Ученые тогда ничего не получали, жили исключительно преподаванием. – Георгий Георгиевич собирается вздохнуть над их участью, но вместо этого хмыкает. – Золотая пора науки... В начале революции Кольцова в чем-то заподозрили, арестовали, приговорили к расстрелу. Вскоре дело разъяснилось, его освободили. В первом номере трудов Института экспериментальной биологии он поместил научную статью о влиянии психических переживаний на вес человека. Там говорилось, что тогда-то он был приговорен к смерти и питался в это время так-то. Калорийность была такая-то, достаточная, но похудел он на столько-то. В ожидании расстрела занимался самонаблюдением. Внешность? Эффектная. Толстовка, большой бант, элегантность. – Винберг делает паузу и так же скрипуче-суховато продолжает: – Как кот в «Синей птице» Метерлинка. – И, не меняя интонации: – Белые усы, всегда хмуро-хорошее настроение. Либерал, да такой, что не умещался в среду московской профессуры.

Сравнение с котом из «Синей птицы» вряд ли чисто внешнее. Георгий Георгиевич Винберг – крупнейший наш гидробиолог, членкор Академии наук, имеет репутацию человека, зря словами не кидающегося.

– Уж очень он примитивно понимал клетку. Увлекался часто несерьезными вещами. Например, омоложением. А то напечатает статью «О мыслящих лошадях».

Для Георгия Георгиевича это вещи непростительные. Отсюда и «кот». Но тут же я убеждаюсь, что за этим мнением есть следующее, несколько иное.

Он вспоминает жену Кольцова. Начинает насмешливо, снисходительно:

– Истеричная барынька, неумная, капризная, обожала изъясняться насчет своей любви к мужу до гроба, заявляла, что не переживет его. Над этим смеялись. Когда Кольцов умер – а умер он внезапно, будучи в Ленинграде, – к ней помчался сотрудник. На всякий случай, мало ли что. Нашел ее столь апатичной, что успокоился и вскоре удалился по похоронным делам. Когда вернулся, застал ее мертвой.

Голос его все так же сух, скрипуч. Но это для меня уже не важно.

Стоит понять его манеру рассказа, напускную ироничность, как и он сам, и жена Кольцова – всё оказывается другим. Трагедия любви меняет все превратные, поверхностные суждения об этой женщине. Истеричность ее видится иначе в те опасные для Кольцова годы. Каким надо быть человеком, чтобы внушить такую любовь, и какое чистое и прекрасное сердце надо было иметь, чтобы так любить. Она, Мария Кольцова, была достойна своего мужа.

Владимиру Яковлевичу Александрову историческое выступление Кольцова в 1928 году запомнилось импозантным видом докладчика – вельветовый костюм, высокие сапоги и то, как он учил говорить: не хромозома, а хромосома. Главного, что было тогда в докладе, – рассуждения о матрицах – Александров не воспринял. Хоть был молод, пылок ко всему новому.

– ...И, похоже, никто не воспринял, – размышляет он. – Ничего удивительного. Рановато. В науке механизм сопротивления новому естествен. Его только следует регулировать, чтобы он не тормозил движения. То есть трения должно быть достаточно, чтобы не пробуксовывало. Прошло время, понадобились матрицы, и они появились. Тогда вспомнили о кольцовском докладе. Бывает пообиднее. В тысяча девятьсот пятидесятом году праздновали поучительную дату – пятидесятилетие законов Менделя, которые открыли повторно в девятисотом году. И что замечательно: трое ученых независимо друг от друга одновременно открыли их! Это спустя тридцать с лишним лет после Менделя. С девятисотого года и началось бурное развитие генетики.

Так оно и происходит: если упреждение слишком большое, открытие летит мимо цели.

Каждый из учеников Кольцова выбирает в его работах свои любимые идеи, каждый лепит свой образ, создает свой портрет. Если их накладывать друг на друга, изображение не станет правдоподобнее, случайные черты не сотрутся. Облик затуманится, живое исчезнет. Примерно

то же самое происходит ныне и с Зубром. Слушая его учеников, уже не разберешь, каким он был на самом деле: один считает его дальновидным, другой – наивным, третий – скрытным. Один – идеалистом, другой – материалистом. Некоторые утверждают, что он был верующим, вторые – что он только в последние годы стал размышлять о Боге, третьи доказывают, что он всегда был атеистом. Обычная история.

А вот в отношении Колюши к своему учителю никто не сомневается, в этом никаких разночтений. Когда люди уходят, образы их двоятся, уплывают из фокуса, ясными остаются лишь отношения между людьми. Вот где, оказывается, остается наиболее прочный след.

Разумеется, кроме Кольцова у Мензбира были и другие ученики. У Кольцова кроме Мензбира были и другие учителя. Но сколько бы ни было учителей, есть Учитель, и среди лучших учеников есть любимый Ученик.

Таким Учителем Колюши был Кольцов, таким Учеником Кольцова был Колюша. Сам Кольцов, когда был Учеником, был тоже вроде Колюши – отчаянным парнем с крайне левыми радикальными взглядами. И на этой почве у него произошло крупное столкновение с Михаилом Александровичем Мензбиром. В двадцатые годы столкновение это часто обсуждалось следующими поколениями учеников и учителей, и давнее происшествие, доисторических, можно сказать, времен, произвело серьезное впечатление на Зубра.

Дело в том, что Кольцов, связанный с либеральными кружками, хранил в лаборатории революционную литературу. Были годы реакции, и Мензбир, узнав об этом, накричал на Кольцова. Тот не внял. Тогда Мензбир попросту отнял у Кольцова лабораторную комнату и строго предупредил: коли ты получил возможность заниматься наукой, то не отвлекайся. Об этом конфликте вспоминали по-разному, по-разному его расценивали, но Кольцов двадцатых годов бурчал сквозь толстые висячие усы, что молодой доцент был глуп, мог подвести ни в чем не повинных сотрудников лаборатории, устроил чуть ли не склад неположенной литературы, в конце концов «правильно меня Михаил Александрович с моими брошюрками вытурил». А Мензбир объяснял, растягивая слова, кивая седенькой головкой: «...опасный возраст, ибо изволяет думать, что политические экивоки – наиважнейшее занятие, нет понятия о том, что полезнее нормальная научная работа. Подвергать опасности лабораторию, с таким трудом созданную, – нет уж, увольте, – я не мог. Ни за какие коврижки. Слава богу, Николай Константинович ныне понимает сие, достиг».

Красноармейское прошлое Колюши спорило с такими доводами. Он знал, как дорога и нужна бывает правда, заключенная в этих брошюрках, однако его смущало, что Кольцов соглашался с Мензбиром, подтверждал с высоты прожитого незыблемое преимущество науки перед суебой политических страстей, перед брошюрками, где вместо истины – агитация, сегодня одно, завтра другое. Его уважаемые учителя не стеснялись так говорить, хотя еще польхали митинги, шел дождь брошюр, плакатов, все было насыщено политикой, призывами; казалось, ими одними можно повернуть русскую махину к новой жизни. Но старики стояли на своем. Рано или поздно, считали они, приходит понимание: единственно стоящая цель – служение науке, она не обманет, не разочарует. Наука, лабораторная работа, познание тайн природы – это было красиво, ясно и ограждало от прочих обязанностей. А если рано или поздно, то лучше рано, не теряя свежих сил.

Не будем, однако, упрекать этих людей, было бы слишком примитивно считать их фанатиками, одержимыми наукой. Слово «одержимость» к ним не подходит. Они служили науке преданно и влюбленно, но и для них многое оставалось превыше науки, например правила чести и порядочности. В 1911 году во время событий в Московском университете тот же М. А. Мензбир в знак протеста против действий царского правительства ушел с поста проректора университета и покинул кафедру, которой он заведовал. Вместе с ним подали в отставку многие профессора – К. А. Тимирязев, П. Н. Лебедев, В. И. Вернадский, С. А. Чаплыгин, Н. Д. Зелинский.

Пригласили Н. К. Кольцова, предложили ему занять кафедру Мензбира. О чем еще может мечтать молодой доцент? Кольцов отказался без всяких колебаний. Оскорбился, что его могли счесть готовым на подобную непристойность. Стали искать другого кандидата. Предложили работавшему в Киевском университете Северцову Алексею Николаевичу. Тот согласился. Приехал из Киева и занял кафедру своего учителя. Щекотливость ситуации заключалась в том, что Алексей Николаевич Северцов был сыном Николая Алексеевича Северцова – знаменитого учителя М. А. Мензбира. Память своего учителя Мензбир высоко чтит. У отца была репутация честнейшего, всеми уважаемого человека. Рассказывали анекдоты о его рассеянности, но любили его и гордились его заслугами. И вдруг такое с его сыном! Огорчило это всех чрезвычайно, но простить не могли, за этот поступок его осудили единодушно. Приговор общественного мнения страшнее судебного. Не обжаловать. Не откупиться, не отмахнуться. Общественное мнение судило по неписанным законам порядочности. По этим законам поступок младшего Северцова был сочтен непорядочным, и что бы потом Северцов ни делал, как ни старался организовать лабораторию, создать большую школу морфологов, его сторонились. Он написал хорошие монографии, разработал теорию появления новых признаков, их изменения – словом, обрел немало заслуг, тем не менее та история долго тянулась за ним, не покидая его, как тень. Общественное мнение в те годы было нетерпимо к прислуживанию перед властью, подозрительно относилось к правительственным наградам, беспощадно судило за ложь, за подделку данных... Поступок Кольцова был нормой, поступок А. Н. Северцова был нарушением нормы. Старшие ученики Мензбира – Сушкин, Кольцов – и те, кто помоложе, с годами смягчились и, видя, как тяжело Северцов переживает всеобщее отчуждение, сказали ему: так, мол, и так, Алексей Николаевич, надо вам идти просить прощения у Мензбира, иначе ничего не получится. Северцов пробовал было ерепениться, но виноват так виноват, признание не унижает. В конце концов он так и сделал – пришел к Мензбиру, посыпав голову пеплом, покаялся.

Глава одиннадцатая

Давно мечтаю я написать книгу о чести и бесчестии. Собрать в ней поступки, известные по разным источникам, благороднейшие поступки, примеры порядочности, великодушия, добра, чести, красоты души.

Там было бы про Петра Николаевича Лебедева, перед которым тоже в 1911 году встал вопрос об уходе из Московского университета. К тому времени он с великим старанием собрал первую русскую школу физиков – много молодых сотрудников, которых он не мог покинуть, бросить. И сама лаборатория, наконец-то оборудованная, где он начал цикл новых работ, – как ее оставить? Куда пойти? На что жить? Других физических институтов в Москве не было. Его уговаривали остаться, уговаривали ученики и некоторые из преподавателей. Ему бы простили это отступничество, потому что все понимали особенность его положения. Мучился он, мучился и все же подал в отставку, ушел из университета. Очевидно, понимал, что иначе он сам себя не простит. Он не мог не присоединиться к протесту, хотя, подобно Мензбиру, политикой не интересовался. Впрочем, порядочные поступки не объясняются, им не ищутся причины.

В той книге о чести была бы история отношений Чарльза Дарвина и Альфреда Уоллеса. Как щедро уступали они друг другу приоритет! Особенно симпатичен мне в этом смысле поступок Альфреда Уоллеса. Как известно, он прислал Чарльзу Дарвину из Вест-Индии рукопись своей статьи, где излагал теорию естественного отбора, связь отбора с борьбой за существование. На пятнадцати страницах он полностью изложил все то, что готовил к печати сам Дарвин в своей книге «Происхождение видов». Друзья, зная, что Дарвин начал свои работы двадцать лет назад, решили опубликовать одновременно статью Уоллеса и частное письмо, написанное Дарвином год назад с аннотацией своего труда, и доложить обе работы Королевскому обществу. Так и было сделано. Альфред Уоллес заявил, что считает их действия более чем великодушными по отношению к нему. Никогда, ни разу в следующих своих превосходных работах, снова в чем-то обгоняющих Дарвина, он не претендовал ни одним словом на всемирную славу, которая досталась Дарвину и его великой книге. Он же первым стал применять термин «дарвинизм».

Мне хотелось бы написать про ученых, которые выступали мужественно, разоблачая собственные ошибки и заблуждения. Подобно русскому электротехнику Доливо-Добровольскому, сумевшему перечеркнуть свои многолетние труды, доказав их ограниченность. Про русских ученых, которые снимали с себя звания академиков, когда Академия поступала несправедливо.

Или – про английского профессора в Кембридже, в семнадцатом веке, сэра Барроу. Неплохой математик, он заметил успехи нового своего ученика и стал всюду подчеркивать его талант, признал вскоре его превосходство. Мало того, отказался от кафедры, потребовав, чтобы занял ее ученик, которого тогда мало кто знал. Звали молодого ученика Исаак Ньютон. «Ваше место здесь, – сказал ему ученый, – а мое пониже».

Про историю самоубийства Пауля Каммерера. Австрийский зоолог свято верил в наследование приобретенных признаков. Он ставил опыты, чтобы доказать это на пятнистых саламандрах, на жабах. Над ним смеялись, он же все более упорствовал. Он опубликовал книгу о том, как он переделал одну жабу в другую, о том, что он получил якобы жабу с мозолью другой окраски. Тогда американец зоолог Нобель приехал в Вену и стал исследовать препараты Каммерера. Внимательно осмотрев мозоли у жаб, он обнаружил, что в них впрыснута тушь. История эта получила огласку, и на Каммерера посыпались обвинения. Он покончил с собой. Позже выяснилось, что Каммерер искренне заблуждался. Для него было страшным ударом обнаружить, что это – подделка. Судя по мнению некоторых, он доверился своему единственному лаборанту, который пошел навстречу желанию Каммерера получить в потомстве

нужную мозоль. Вполне вероятно, лаборант, чтобы отделаться от своего шефа, а может желая ублажить его, впрыснул тушь, и Каммерер с восторгом принял долгожданный результат. Но в этой печальной истории привлекает понятие о чести ученого. Он не мог жить, если его подозревали в фальсификации данных.

В числе этих рассказов был бы и рассказ о Н. К. Кольцове. В 1893 году в Москве, в Дворянском собрании, происходил Всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей. Съезд стал общественным событием. Русская наука заявляла о себе в ведущих темах мирового естествознания. На съезд явились гости из всех кругов русской интеллигенции. Приехал даже Лев Толстой. Одним из докладчиков был Александр Андреевич Колли, профессор органической химии. Доклад его слушал Кольцов, тогда еще студент. А. А. Колли задался вопросом – каким образом от маленькой клетки передается по наследству множество признаков? С помощью молекул? Но их может уместиться там немного, слишком мало. А если не молекулярно, то как?

Ответ на этот вопрос дал Кольцов. Однако в своей работе он приписал все авторство Колли, хотя у Колли ответа не было. Кольцов считал, что идея у него возникла благодаря точно поставленному Колли вопросу. Поэтому он не мог, не был вправе приписывать себе авторство.

Некоторые считают Кольцова основателем молекулярной биологии. На всякий случай оговоримся: одним из основателей. А вот как все эволюционно образовалось – об этом у него ничего не сказано. Дальше эволюционную генную идею на молекулярной основе развил Колюша. Но до этого было еще далеко. Надо было ему еще пройти большой практикум, университет и прежде всего – обучение у своего Учителя.

Со всей добросовестностью прорабатывали ученики Кольцова большой практикум. Колюша принадлежал к среднему поколению учеников. Через кафедру Кольцова, его лаборатории прошли: Серебровский, Скадовский, Астауров, Фролова, Живаго. Это поколение помогло организовать практикум, какого еще не было. Где только потом ни перебивал Колюша – в университетах Германии, Италии, Англии, Америки, – ничего подобного уровню кольцовского практикума он не видал. Два года продолжался практикум. Сперва студенты возились с кольчатыми червями, потом – с членистоногими, потом – с низшими позвоночными, кончалось это все ланцетником. Поскольку каждый студент должен был зарабатывать себе на пропитание – то ли лекции читать, то ли плотничать, чинить, паять, кто что умел, – лабораторию Кольцов держал открытой круглые сутки. Приходили работать кто когда мог. Утром, ночью, днем. Выбирался один день, когда всем было удобно, обычно в среду, и преподаватель устраивал лекцию по материалам, которые раздавались на ближайшую неделю для проработки. Некоторые занятия проводил сам Кольцов. Особенно по темам, которые он любил или же где он открыл что-то новое. И так длилось два года, от среды до среды. Изготавливали препараты, учились определять вид, вели живые культуры. У каждого имелась своя культура амебы, жгутиковых, инфузорий. Надо было все стадии деления, размножения фиксировать, сличать, зарисовывать. То же самое с губками, с кишечнополостными. И все делали самостоятельно. Резали всяких букашек, козявок, наблюдали регенерацию, трансплантацию у головастика, тритонов. Каждый сам копался, открывал, ахал, ошибался, спрашивал, чувствовал себя исследователем. Изучать моллюсков поручили Винбергу. И как их изучать? Он стал спрашивать. Путался. Нащупывал. А потом предложили доложить на семинаре. Были небольшие спецкурсы. Сергей Николаевич Скадовский вел курс по гидрофизиологии, Дмитрий Петрович Филатов – по экспериментальной эмбриологии, Петр Иванович Живаго – по цитологии. Каждая из этих фамилий вошла в историю биологии. Получилось, что с молодых лет окружали Зубра личности незаурядные.

Спецкурсов было шесть или восемь. И все это было без принуды. Хочешь – посещай, хочешь – нет, твое дело. Колюша как староста никакого учета прихода-ухода не вел. Свобода, которую давал практикум, привязывала к нему крепче всяких приказов. Практикуму отдавали все силы, выкладывались подчистую, весь молодой энтузиазм уходил в соревнование, в жажду

понять, не отстать. Никто не спрашивал: какой язык вы знаете? Дают Кольцов или Четвериков прочитать статью на французском, значит, учи французский, словари давно изобретены. Колюше не повезло с первым рефератом: он получил монографию на итальянском. Два месяца давалось на ознакомление. Пришлось прочитать. Вкалывал чуть ли не круглые сутки. Однажды пришел в театр на галерку и заснул там. Сидит спит. Потом какой-то шум поднялся. Оказывается, две девицы, что сидели рядом, разрисовали ему лицо губной помадой под клоуна.

Участники практикума между 1917 и 1927 годами, все, кто прошел его в это десятилетие, считают себя счастливыми, это была лучшая пора их жизни.

Когда появлялся новичок, желающий заниматься у Кольцова, с ним знакомился Колюша как староста, докладывал о нем Кольцову, ему же обычно Кольцов поручал присмотреться к новому студенту, что, мол, за фрукт. Так появилась Елена Александровна Фидлер. Она начала учиться у Кольцова еще в университете Шанявского. Это была высокая девица с нежными чертами лица, безукоризненной фигурой. Происходила она из известной московской семьи Фидлеров, тех самых, которые содержали частную женскую гимназию, популярную в то время. Ей пришлось тоже немало хлебнуть, этой кисейной барышне, маменькиной дочке, с ее аристократическими манерами. Дело в том, что у Кольцова работал в числе педагогов М. М. Завадовский. Он организовал экскурсию в Асканию-Нова. Набрал группу слушательниц университета Шанявского, а там было большинство девиц, и отправились они в заповедник. А тут разгорелась на Украине гражданская война – загуляли банды махновцев, петлюровцев, гетманцев, анархистов. Дорога на Москву была отрезана, вернуться назад не смогли, можно было податься только в Крым, и девицы разъехались, разбежались кто куда. Приключений хватало, Елене Александровне пришлось хлебнуть всякого, спаслась чудом и добралась до Москвы зимой 1920/21 года. Лена, или, как звал ее Колюша, Лелька, преобразилась – повзрослела, расцвела. Колюша, у которого был роман с ее подругой, вдруг все перевернул и через две недели объявил о женитьбе на Лельке. Свадьба была весной, в мае месяце. Роман произошел бурно и непредвиденно для всех, кто сватал Колюшу за девиц, более подходящих ему по характеру, по положению, по росту. Лелька была выше его на полголовы и полной противоположностью характером. Никто не думал, что они уживутся. В мае не положено жениться: всю жизнь маяться будут. На самом же деле роман их, уже крутой, серьезный, начался после свадьбы, по мере того как они познавали друг друга. Они и впрямь казались несовместимыми. Она – спокойно-рассудительная, он – яростно-вспыльчивый; она – ровная, выдержанная, умеющая обращаться с самыми разными людьми и в то же время державшая их на расстоянии, он – оратор, ругатель, легко ныряющий в любую компанию, сразу облипающий интересными личностями. Лелька – домовитая, ей нужен порядок, казалось, она создает этот порядок, чтобы он имел удовольствие рушить его. Она распознавала людей лучше Колюши, была обязательной, исполнительской, умела экономно держать его безалаберный бюджет. Она появлялась на людях всегда причесанная, продуманно одетая, сияя своими зеленоватыми тихими глазами; он же – в рубахе навыпуск, в драных от своих экспедиций брюках, а то еще босой. Он – несдержанный на еду, на курево, на выпивку, она же могла лишь пригубить рюмку...

Как биолог она была безукоризненным исполнителем, умела ставить тонкий, долговременный эксперимент, обеспечивала успех там, где требовались терпение, точность, умение накопить тысячи повторных наблюдений. Могла отобрать, проанализировать сто двенадцать тысяч мух и найти среди них двенадцать светлоглазых, в другом опыте – получить потомство облученных мух и отобрать из девяноста тысяч три красноглазых мухи.

Общая работа объединяла их накрепко, потом соединила и чужая страна, в которой они очутились. С годами он нуждался в ней больше, чем она в нем, но зато она гордилась им все больше, рядом с ним другие мужчины проигрывали по всем статьям. С ними было скучно, пресно, в них не хватало куража, огня.

Ни он, ни она не рассказывали мне историю их отношений, и я не стал ее насочинять. Никогда я не видел, чтобы они ссорились, ругались – в бытовом, обыденном смысле. Им мешало взаимное уважение. Между ними, конечно, происходили столкновения, бывали обиды, размолвки, но на каком-то ином уровне, никто никого не унижал. Я застал их в тот период, когда Лелька вела всю переписку, читала вслух статьи, книги, потому что Зубр после некоторых событий стал плохо видеть.

По-видимому, он испытал немало увлечений – любовных, мимолетных, бабы к нему тянулись, но ни одна из них не могла стать Лелькой, стать нужнее, чем жена.

Впрочем, судя по некоторым воспоминаниям, я упрощаю, любовь их развивалась куда замысловатей, он терял ее и снова завоевывал. И то, что мы не знаем ничего достоверного, может, к лучшему.

Глава двенадцатая

В те годы учеба не могла поглотить всей его неумной энергии. Засучив рукава он ввязался в организацию Практического института. Предполагалось создать учебное заведение совершенно нового типа, с тремя факультетами – биотехническим, агрономическим и экономическим. Ему хотелось как-то приблизить биологию к нуждам народа, к хозяйственным заботам страны. Создать новый институт, да еще в тех условиях, было увлекательно, немислимо – и куда проще, чем ныне. Главное богатство молодой власти было доверие. Чем она еще располагала в изобилии – это помещениями. Институт получил богатое пустое здание бывшего коммерческого училища на Остоженке. Остальное добывайте сами, ищите, хлопчите. Вскоре они добились права использовать запасы русского Красного Креста, получавшего во время войны всякое лабораторное оборудование. Колюша наряжался в свою военную форму, садился в двухконную коляску с солдатом на козлах и в таком грозном виде подкатывал к нужному учреждению. Требовал. Выбивал. Внушительно и значительно. Среди имущества находили новенькие микроскопы, лупы бинокулярные, монокулярные, микротомы, термостаты, ящики химической посуды...

К двадцать третьему году институт был оборудован лучше, чем биологические лаборатории университета.

Имелся еще один источник. Не очень честный, но что поделаешь. Нужда не церемонится. Пользоваться «вторично» тем, что первично приобретал и добывал П. П. Лазарев. Физик, академик, имевший куда больше прав и возможностей, чем этот «краснопуп в коляске», академик Петр Петрович Лазарев, или, как его называла молодежь, Пепелаз, получил поддержку от Ленина касательно мечты поколения русских физиков и геологов о Курской магнитной аномалии.

Он разъезжал по разным учреждениям – уже на автомобиле! – являлся туда «под ручку со своей магнитной аномалией» и реквизировал всякую всячину, полезную для аномалии. Разбираться в этом хозяйстве у него не было времени. Числилась посуда – он забирал посуду, а вместе с биологической посудой попадала и кухонная, столовая; вместе с лабораторными халатами, салфетками и прочим добром шло постельное белье, чуть ли не подштанники. Пепелаз обследовал склады всяких насосавшихся за войну организаций, вывозил оттуда имущество в биофизический институт, который достраивался, складывал ящики во дворе, огороженном высоким забором. Наступила зима. Колюша с приятелями раздобыл санки. С наступлением темноты втроем подъезжали к забору лазаревского института. Двое перелезали во двор, среди ящиков на глаз определяли, что там и что может понадобиться, передавали через забор, там соучастник устанавливал добычу на салазки, и все удалялись. Вскроют потом какой-нибудь ящик, а там – китайский чайный сервиз. Выругаются – сервиз-то им без надобности. Им нужно лабораторное стекло, которое не изготовлялось тогда в отечестве. Куда девать сервиз? Ну, меняли хоть на полотенца. Действия не отличались высокой моралью, воровство оно и есть воровство, какие бы оправдания ни приводить. Оправдания же у них были такие: во-первых, не для себя, не корысти ради, во-вторых, они рисковали своими головами, тогда не церемонились, милиционеры могли пристрелить на месте за такие художества. Логикой грабители себя не затрудняли, они ставили себе в заслугу и то, что Кольцову ничего не говорили, чтобы не обременять совесть учителя.

Студенческие годы... Ничего общего с дореволюционным студенчеством, и с последующими рабфакскими поколениями тоже различались. Эти первые советские выпуски выделялись своими талантами.

Вундеркиндства не было. Колюше шел двадцать второй год, он все еще числился студентом. И нисколько этим не тяготился. Его занимало одно – проработать практикумы, которые

его интересовали, и прослушать нужные ему курсы. Когда он это сделал, счел, что с университетом покончено, и не стал сдавать никаких государственных экзаменов. Так поступал не он один. Многие тогда считали дипломы никому не нужной формалистикой, пережитком прошлого, бюрократической отрыжкой. Бумажка не имела силы, на нее не опирались в науке, редкое население науки составляли чистые энтузиасты, искатели истины, любители приключений мысли, рыцари идеи или каких-то неясных врожденных стремлений. Они занимались бы наукой и бесплатно, лишь бы их чем-то кормили. Они не были ни фанатиками, ни одержимыми, лучше считать их романтиками.

Когда Колюша уехал за границу, там тоже никто не спрашивал дипломов. В результате свою карьеру он проделал без писчебумажности. По возвращении из долгой одиссеи, где-то в пятидесятых годах, спохватились, что он никто. К тому же в бурной их жизни Лелька не уберегла гимназический диплом, и Зубр оказался человеком без всякого образования. С трудом ему оформили жалованье старшего лаборанта...

Но это случится не скоро. Пока что он стал работать в одной из кольцовских лабораторий при КЕПСе (Комиссия по изучению естественных производительных сил России). Учреждения, комитеты появлялись тогда во множестве, одни организовывались, другие исчезали. Научная жизнь, несмотря на разруху, голодность, расцветала. Строился лазаревский институт, окреп кольцовский, появились институт Марциновского, Институт народного здравоохранения. Не возводили многоэтажных корпусов. Институты размещались в старых особняках, по нынешним понятиям вовсе маленьких, и людей в них работало немного – и все это тогда шло на пользу. Важно было и то, что за время мировой войны, потом гражданской накопились идеи, желания, замыслы. Все это ринулось в дело при первой же возможности, получился всплеск русской науки двадцатых годов.

Был возобновлен журнал «Природа», основан Кольцовым «Журнал экспериментальной биологии», Лазаревым – журнал «Успехи физических наук»...

Глава тринадцатая

Когда Колюша возвращался с Юго-Западного фронта, на каком-то разъезде попал он в плен к банде анархистов. Они считались «зелеными», воевали по-своему с немцами, наступавшими на Украину, и как «зеленые», да к тому же анархисты, никому не подчинялись, не признавали никаких властей, считали, что порядок в России может родиться только из анархии. При всем при том с противниками своими они не церемонились. Атаманом этой банды был некий Гавриленко, который называл себя «учеником самого князя Кропоткина». Гавриленко допросил Колюшу, и кто знает, какой приговор он вынес бы этому подозрительно грамотному красноармейцу, невесть зачем пробирающемуся в Москву. Нельзя же было считать серьезной причиной в разгар Гражданской войны исследовать карповых рыб. Что-то тут было не так. И чтобы не ломать себе голову, проще было его шлепнуть. В лучшем случае – всыпать горячих, чтобы не темнил. При динамическом характере Колюши легко представить себе, чем бы кончилась для него эта встреча, но тут любопытства ради он спросил Гавриленко: «Ты ученик Кропоткина, а ты его видел когда-нибудь?» Гавриленко, конечно, не видел и не стеснялся этого – кто же мог видеть самого Кропоткина? «А я видел! – заявил Колюша. – Поскольку родственник!» И рассказал, что Петр Алексеевич Кропоткин является двоюродным братом его бабушки, так что Колюша приходится ему двоюродным внучатым племянником.

– Мы с бабушкой бывали у него несколько раз, говорили о некоторых революционных проблемах. Кормил нас малиновым вареньем, которое ему, между прочим, Ленин подарил. К нему Ленин уважительно относился, навестил его, и он к Ленину расположился.

Правда, тут же Колюша сообщил, что он сильно спорил с Кропоткиным, да нет, не об анархизме, анархизм ему, Колюше, был ни к чему. Спор шел об эволюционных взглядах Кропоткина, и зря спорил, неправильно понимал тогда эти взгляды, потом прочел его книгу «Взаимопомощь как фактор в борьбе за существование» – отличнейшая работа – и признал: Кропоткин умница, хоть и барин большой. А кроме того, он еще создал геологическую теорию образования ледникового периода.

– Да как ты смел спорить с самим Кропоткиным! – закричал Гавриленко.

Но с той минуты проникся к Колюше почтением, приблизил к себе как представителя Кропоткина и стал брать на вылазки против немецких войск, которых клялся изгнать с Украины. В одной из таких вылазок немецкий улан хватил Колюшу плашмя шашкой по голове, он упал с лошади без сознания. Очнулся ночью. Конь стоит. Папахи нет. Влез на коня и, обиженный, что его бросили, поехал искать красноармейскую часть своей 12-й армии...

Судьба не могла в ту пору уберечь его от событий, от участия в них. Таков был его характер. Он вбирал в себя время жадно, хлебал всю гущу происходящего. Зато судьба заботливо выручала его из отчаянных положений, оттаскивала за волосы, за шиворот от самого края... Иногда мне кажется, что в этом не чудо, а явный умысел – донести, сохранить в живых именно подобный, отмеченный шрамами всех событий, экземпляр.

Приключения и случаи из его жизни всплывали беспорядочно, к слову, повторяясь и в то же время никогда не повторяясь. Как в калейдоскопе. Полагалось бы их свести вместе, сложить из разных вариантов один, самый полный, да я поостерегся.

...А в следующем рассказе Колюши идет показ, как его учили в кавалерии рубке лозы:

– Два есть главных момента: когда вперед руку несешь, чтобы ухо у коня не отхватить, а потом когда отмах делаешь, чтобы от задницы кусок не отрубить у коня. Поэтому руку надо вывернуть, что требует аккуратности и сноровки. Что хочешь руби, но имей в виду – ухо и задницу у коня не повреди!

И попутно выясняется, что банда Гавриленко попала в засаду, возвращаясь после очередного набега. Банда двигалась с обозом; бабы с ребятами на телегах, мешки, самовары, котлы,

kozy – кочующая республика. Колонна втянулась в горловину: с одной стороны река, с другой – заросли кустарника, густые, ни пройти ни проехать. Навстречу выскочил немецкий эскадрон. Гавриленко scomандовал: «Вперед!» Тут – кому повезет. Колюша рванул, пригибаясь к шее коня: выноси, милый! Кавалерист из него был не ахти, но держаться умел, конь понимал его, животные его понимали, и он их понимал, недаром он считался настоящим зоологом. Рванул, затем удар, затем звездное небо и лошадь рядом...

Ученому дар рассказчика, казалось бы, без нужды, а у него он каким-то образом входил в его научный талант. Известный математик А. М. Молчанов так определил его искусство:

– У Зубра была своя манера: держи главную идею. Расцвечивай сколько угодно, но возвращайся к ней. Сменные детали могли варьироваться, а вот основная идея всегда сохранялась. Прелюдии, отвлечения – на все это он был большой мастер. Но стальной поступью, шаг за шагом, идет главная мысль. Такие лекции томов премногих тяжелей. Когда умер Зубр и умер Келдыш, я с печалью сказал: «Мне больше некого бояться». Я боялся только этих двоих. По многим причинам. Оба они соображали настолько лучше меня, что могли меня выставить дураком в моих собственных глазах. Оба сильные были, подчиняли себе, что тоже не особо приятно... Притом что совсем не схожи, можно сказать, противоположны. Я, например, заметил, что говорю, интонационно подражая Зубру...

Глава четырнадцатая

В 1925 году Оскар Фогт попросил у наркома здравоохранения Н. А. Семашко порекомендовать ему молодого русского генетика для берлинского института, для нового отдела генетики и биофизики.

Профессор Фогт был директором Берлинского института мозга. Его приглашали в Москву на консультации, когда заболел В. И. Ленин. После смерти Ленина, в 1924 году, советское правительство попросило его участвовать в изучении мозга В. И. Ленина и помочь в организации Института мозга в России.

Семашко посоветовался с Кольцовым. Подумав, Кольцов предложил кандидатуру Колюши.

– Что за Тимофеев? – спросил нарком. – Не тот ли это молодец-тать, что с дубинкой напал на меня?

– Тот самый, – подтвердил Кольцов.

– М-да. – Семашко выразительно почесал затылок. – Разбойника с большой дороги рекомендуете?

– Настоятельно рекомендую.

Семашко расхохотался и велел пригласить к себе этого Колюшу.

Прежде чем произойдет их свидание, надо пояснить, откуда Семашко знал Колюшу и почему чесал затылок.

Год тому назад Кольцов уговорил наркома посетить обе кольцовские биостанции. Одну в Аникове, где работали сотрудники А. С. Серебровского, другую – по соседству, у Звенигорода, где работал Колюша с друзьями.

Станция Серебровского, старшего ученика Кольцова, была известная генетическая станция, где изучали на курах генетику популяции. Имелись уже хорошие результаты, полезные Наркомзему.

Вторая, звенигородская, была как бы малопrestижной, потому что там занимались какими-то мухами, что всем посторонним казалось абсолютной ерундовинной. Когда друг-приятель Колюши, Реформатский, организовал охоту и в последний момент Колюша отказался ехать, ссылаясь на мух, за которыми надо присматривать, его подняли на смех. Мухи, подумаешь, ценный материал! Глупо из-за каких-то мух упускать праздники, прелесть жизни. Он не мог объяснить, по крайней мере тогда еще не мог объяснить, что через тех ничтожных мушек открываются не ведомые никому процессы развития жизни. Двукрылые мушки на много лет стали источником его восторгов, разочарований, его славы, его неприятностей...

Мушка называлась дрозофила. Трехмиллиметровая мушка с тигровым брюшком. Если бы я писал научно-популярную книгу, я бы прежде всего воспел дрозофилу, сочинил бы нечто вроде оды этому насекомому, верному помощнику тысяч генетиков начиная с 1909 года. Оду за ее откровенность. Или за ее болтливость. Болтливый объект, который хорош тем, что так плохо хранит тайны природы. Трудно оценить, какую большую службу сослужила дрозофила науке. Если сочли возможным поставить памятник павловской собаке, то следовало бы увековечить и нашу благодарность моргановской мухе дрозофиле...

Один из учеников Зубра, Николай Викторович Лучник, записал речь учителя во славу дрозофилы:

– Незаменимый объект! Быстро размножается. Потомство большое. Наследственные признаки четкие. Мутацию не спутать с нормальной. Глаза красные, глаза белые. Во всех серьезных лабораториях мира работают на дрозофиле. Невежды любят говорить о том, что дрозофила не имеет хозяйственного значения. Но никто и не пытается вывести породу жирномолочных дрозофил. Они нужны, чтобы изучать законы наследственности. Законы эти одина-

ковы для мухи и для слона. На слонах получите тот же результат. Только поколение мух растет за две недели. Вместо того чтобы из мухи делать слона, мы из слона делаем муху!

В России работать с дрозофилой стали недавно, никакого авторитета мушка эта и труды над ней не завоевали. К слову сказать, мушке этой долго еще доставалось и в сороковых годах, и даже в пятидесятых. Ею стыдили, упрекали, она была примером оторванной от практики, ненужной науки, иметь дело с ней считалось опасным – преступная муха!

Итак, провели на звенигородской станции, что нарком едет и сперва посетит станцию в Аникове. Пригорюнились.

Потому что живо представили себе, какой там, на благоустроенной станции, зададут пир, выставят своих курей, спиртику. Может получится, что потом нарком и не успеет заехать на звенигородскую, а если и поедет, так торопиться не будет. Что делать? Колюша предложил перехватить наркома. Думали, думали и решили умыкнуть наркома силой. На развилке. Километрах в пяти была развилка: налево – в Аниково, направо – в звенигородскую.

Жили и одевались в то время на станции весьма натурально. Колюша, например, большей частью босиком ходил, были у него посконные штаны в полоску, носил еще серенькую рубашку навыпуск, Филатов Дмитрий Петрович, Астауров Борис Львович – примерно в том же виде, только что в ботинках. Решено было засесть в кустах у развилки. Вооружились дубинками.

Тогда наркомы ездили запросто: до Кубинки Семашко ехал поездом, там его должны были встретить и на коляске везти дальше. Сопровождал его всегда помощник, толстый-пре-толстый доктор.

Трусит по дороге тройка, в коляске – встречающие и нарком со своим помощником. И тут по всем правилам древнерусского разбоя выскакивают из кустов молодцы с дубинками. Да еще заросшие, бородатые, потому что не тратили времени на бритье.

– Стой! – и дубинками помахивают.

Помощник Семашко перепугался, в задний карман лезет, где у него пистолет лежит, никак достать не может.

Молодцы объявляют:

– Жизнь при вас останется, денег нам не надо, но поедете с нами, куда мы вас повезем.

Повернули коней на звенигородскую, кучера ссадили. Колюша на козлы, вожжи в руки, остальные с дубинками рядышком бегут в пыли в виде эскорта. Семашко быстро смекнул, в чем дело, и очень ему это умыкание понравилось. С того времени и завязалось у них знакомство.

Историю похищения наркома Зубр любил рассказывать, но выглядела она у него как очередное озорство, ничем серьезным, никакими оправданиями он не нагружал ее. Это потом Н. Н. Воронцов докопался до причин. В похищении было нечто от предков. В крови у Зубра играло что-то разбойное, натура была сильнее ученых пристрастий, натура то и дело опрокидывала его планы. Ни с того ни с сего он отмачивал какой-то очередной номер. Он, например, уговорил товарищей похищать девиц аниковских. Умыкать к себе на биостанцию для ухода за ними, танцев и игр, поскольку своих барышень не хватало. Кончилось это плохо. Похитили одну девицу, сунули ее в мешок. Лежит она себе тихонько, удобно тащить – толстая, мягкая. Принесли, вытряхнули, а она не дышит! Оказывается, она в этом мешке в обморок скатилась. Лежит белая, глаза закрыты. Колюша с Астауровым перепугались. Хорошо, что их сотрудница Минна Савич не растерялась, привела ее в чувство, водой опрыскала, успокоила. После этого похищение дев прекратилось. Оля Чернова была тогда самой молоденькой сотрудницей на станции, но спустя шестьдесят лет она помнит все подробности той летней их жизни и слово в слово повторяет рассказы Зубра. Прирожденный верховод, он верховодство свое закрепил игрой, которую ввел в моду в университете. Волейбола тогда не было, в футбол он уже отгонял в гимназии, остались городки. С его азартом вскоре он стал чемпионом. Впрочем, он не мог быть просто игроком. Он должен был стать чемпионом. В любом деле он добирался до вершины, иначе не стоило браться. В университетском дворе он устраивал сражения зоо-

логов с химиками. У химиков главным городошником был Несмеянов, у зоологов – Колюша. На станции играли дотемна. Клади белые бумажки к рюхам.

Он вспоминает, как на звенигородскую станцию к ним Кольцов привез Германа Мёллера, знаменитого американского генетика. А Мёллер привез им мушек дрозофил. После него у Четверикова появились пробирки с агаром, мушки, всякие красноглазые мутации, кроссинговеры, и наконец образовался Дрозсоор.

Что такое Дрозсоор, никто из непосвященных долго не мог мне расшифровать. Нечто вроде семинара или кружка, где обсуждали работы с этой мушкой.

Вначале было слово или вначале было дело? Вот перед чем всегда встаешь в тупик. Вот о чем спорили философы. И будут спорить и дальше. Потому что даже в том, что происходит на наших глазах, мы не всегда улавливаем, что же было вначале – слово или дело.

С чего начался Дрозсоор, творение Четверикова, столь любезное его сердцу, этот вопящий, кипящий ералаш, из которого один за другим выходили, как тридцать три богатыря, зачинатели оригинальных направлений в генетике?

А начался он, судя по всему, из жажды общения. Но так, чтобы общаться, не стесняясь никакими принятыми формами заседаний. Предлагать, обсуждать без оглядки на мыслимое и немислимое...

Все же что-то этому предшествовало.

После окончания университета полагалось заниматься наукой. Но университета, как известно, Зубр не кончал и госэкзаменов не сдавал. Не кончив учебы, он взялся за науку. Все это знали, и в университете знали, и этого было достаточно. Тогда, в первой половине двадцатых годов, писчебумажная жизнь в науку еще не проникла. Человек расценивался по делам, ученый – по работам, студент – по тому, как он понимает и на что способен. Райское время, когда все ходили нагишом, не прикрываясь дипломами и званиями. Когда Колюша уезжал за границу работать, его учитель Н. К. Кольцов дал ему письмо, в котором удостоверял, кто он такой. Это заменяло все справки и мандаты. Главное, что он его ученик и обучен.

И когда он, Колюша, организовал в Москве Практический институт, у него тоже на это не было никаких особых бумаг, было желание на основе биологии создать нечто необходимое, практическое.

Счастливая пора! Он вспоминал о ней с блаженной улыбкой: все враги, окружавшие Россию, разгромлены, и можно было заняться любимым делом.

Один из рассказов своих о тех годах он начал так:

– Как хорошо ко мне Господь Бог относился! И, убедившись в этом, я занялся экспериментальной биологией.

Глава пятнадцатая

Оскар Фогт был невролог, невропатолог, он много сделал для учения об архитектонике полушарий мозга, кроме того, был крупный специалист по шмелям, по их изменчивости. Он собрал крупнейшую в мире коллекцию шмелей. Короче говоря, его можно было считать зоологом, то есть, по рассуждению Колюши, можно отнести к лучшей части человечества. Фогт, обожающий своих шмелей, хотел генетически подойти к их изменчивости. В Германии подходящего генетика не было. То есть были, конечно, знаменитые Баур, Гольдшмидт, Штерн, но они занимались другими темами. Так что работа у Фогта обещала быть интересной. Однако Колюша категорически от нее отказался и к Семашко являться не стал, не имело смысла. Никаких уговоров не желал слушать. Зачем ехать в Берлин, когда ему и здесь хорошо? Кольцов настаивал. Надо отдать ему должное: он умел управлять своими строптивцами.

Почему Кольцов выбрал Колюшу? Способных, талантливых у него хватало. И годы показали, что все, буквально все ученики Кольцова стали выдающимися генетиками. И Астауров, и Николай Беляев, и Ромашов, и Гершензон... Но Колюшу он выделил как наиболее самостоятельного из молодых. Затем у Колюши уже было пять печатных работ. Из них одна большая. Когда он успел? Насчет этого тоже следует сказать особо. Работоспособность у него была ни с чем не сравнимая. Известно, что он продолжал преподавать, чтобы кормиться и кормить родных и свою семью, потому как Лелька к тому времени уже родила здорового, орущего благим матом сына Дмитрия, которого почему-то все звали Фомой. Новоявленный папаша приговаривал ему: «Ори, ори, морда шире будет».

Когда он мог это приговаривать, неизвестно, так же как неизвестно, когда он мог дуться в городки. Расклад времени не сходится. Если, конечно, считать, что в сутках и тогда было двадцать четыре часа. Преподавание занимало у него до пятидесяти восьми часов в неделю. То есть побольше девяти часов в день одного говорения. Из месяца в месяц. Такой нагрузки не выдерживал ни один преподаватель. Кое-кто пробовал за ним угнаться и быстро скисал. Он дразнил их: «Слабаки! недоноски!»

Разумеется, в хоре он уже не пел. Фронтные пайки за пение кончились, так что расчета не было. Всклакивал от грохота огромного будильника. Будильник был куплен в седьмом классе гимназии, когда выяснилось, что времени не хватает. Единственным запасом, откуда его можно было брать, стал сон. Глупо тратить на сон восемь часов, треть жизни. Раз навсегда он поставил будильник на семь и стал ложиться все позже и позже, пока – уже студентом – не дошел до двух с половиной часов ночи. Поначалу было трудно. Чтобы сразу засыпать, он перед сном обегал несколько раз свой квартал и тогда уже засыпал мгновенно, намертво. Никаких сновидений и прочих глупостей не видел. Некогда было, надо было высыпаться. Постепенно сон утрамбовался, да так, что никакой сонливости не оставалось. Во времена кольцовского института нормальный сон его составлял четыре с половиной – пять часов. На этом он, к счастью, остановился. Всю остальную жизнь так и спал. Некоторые могут считать, что он лишил себя удовольствия поспать, но он считал, что жизнь – удовольствие большее, чем спать. Ему помогало правило, которое у них в семье усваивалось детьми строго-настрого: проснулся – вставай! Валянье в постели не разрешалось. (Были еще два правила, таких же неукоснительных: ничего на тарелке не оставляй и не ябедничай!)

Будильник трясся, подпрыгивал над головой. Через полчаса Колюша уже бежал к трамвайной остановке. В девять начиналось преподавание на Пречистенском рабфаке – с перерывами, чтобы перебежать, доехать с рабфака в медико-педагогический институт и обратно. Девять-десять часов на говорение, два часа на переезды-переходы. В девять вечера являлся домой, нажирался, как австралиец, раз в сутки, всем, чем можно было, и отправлялся в коль-

цовский институт, который, к счастью, был рядом. До часу ночи тешился там со своими обогащаемыми пресноводными, а затем, с 1922 года, с дрозofiлами.

С той поры у него образовалось свое фирменное блюдо: вбухать в кастрюлю все, что есть в шкафу, в холодильнике, – мясо, колбасу, кефир, вареную картошку, яйца, можно туда же сыр, помидоры, и все это – на огонь и по тарелкам, чтобы не тратить время на первое, второе да еще закуску.

Вернувшись домой, еще читал. Поглощал модную у студентов русскую философию – Федорова, Соловьева, Константина Леонтьева, Шестова.

Его пугали: от такой жизни неминуемо мозговое истощение и гибель. Он отмахивался: это у обыкновенных интеллигентов. Похоже, что он не истощался. Ни головой, ни телом. Гибели тоже не происходило. Бегал неутомимо и успокаивал всех, что голова по сравнению с ногами малоценный орган. Голова нужна бывает редко, а для каждодневной жизни ноги и руки много нужнее. Так и жил: ногами и изредка головой.

К 1923 году Кольцов взял Колюшу к себе в медико-педагогический институт вести малый практикум, подбросил какое-то жалованьишко, деньги эти были удивительные – впервые Колюша стал получать за науку.

Практический институт по-прежнему тянул его к себе. Интересное студенчество собралось там – те, кто в военные годы прервал учение, а тяга не пропала. Они подались в институт, где давали ясную специальность, читались циклы: лесная промышленность, зверобойная, водная – то, что добывают из запасов природы, но запасов возобновляющихся. В этом была суть. Изучали теорию эксплуатации и восстановления. Профессор зоологии М. Н. Римский-Корсаков, сын композитора, втянул его в создание новой биостанции, доказывал, что Колюша – замечательный лектор, талантливый педагог-организатор.

Однако Кольцов и друзья Колюши всерьез опасались за его здоровье. Перегрузка, да еще такая, могла кончиться печально.

Я еще не рассказал толком про Дрозсоор – главную душевную страсть всех участников. В Дрозсооре зародилась и выросла новая идея в эволюционном учении – воссоединить современную генетику с классическим дарвинизмом. Идея увлекла всех дрозофильщиков. Кольцов Дрозсоора не посещал, чтобы не давить своим авторитетом, не стеснять. Он пребывал как бы рядом, но наверху, на своей вершине, а они орали у подножья горы.

Дрозсоор расшифровывается как *совместное орание о дрозофиле*. Над совместным ором взмывал мощный бас Колюши. Несомненно, слово «орание» обязано его голосу; он орал громче всех, он был оратель, крикун, вопило, басыло и прочее.

Вполне вероятно, что это он придумал название «Дрозсоор», хотя в этом не признавался. Ор, орание имело для них и второй смысл – пахать, вкалывать, ишачить – словом, работать... Название прижилось и вошло даже в официальную историю мировой генетики.

В орании сохранялся своеобразный порядок, состоял он, пожалуй, в единственном правиле «красной ниточки»: прерывай, неси любую чушь, а докладчик все же свою красную ниточку тяни!

Кольцов не понукал и не давал поблажек. Он был из тех людей, любовь которых распознать не просто. Со всеми одинаково вежлив и никаких любезностей. Они гордились им. В самое тяжелое время никто из них не отвернулся от него. Он не учил их порядочности, но так получилось, что всех его учеников, от старших и до младших – Рапопорта, Сахарова, Фризенна, – отличает щепетильная порядочность.

Теперь понятно, почему Колюша не хотел ехать в Берлин. На кой ему этот Берлин, когда здесь работы по горло, самый ее смак, когда генетика в Советской стране на подъеме, когда такой известный ученый, как Герман Мёллер, поговаривает о том, чтобы переехать из Соединенных Штатов работать в Москву. Нет, не поедет он к басурманам в Берлин, к Фогту, в этот клистирный институт, где больше медицины, чем биологии.

Кольцов все же привел его к наркому. Семашко говорил о необходимости укреплять, поднимать авторитет молодой Советской Республики. Тут такой выгодный случай: есть возможность организовать в Европе совместный германо-советский научный центр. Грех не воспользоваться.

– Да, да, надо думать не только о своем научном интересе, – поддержал его Кольцов.

– Обыкновенно русские ученые ездили за границу учиться, – доказывал Семашко, – либо к какому-то корифею, либо методику осваивать, с аппаратурой знакомиться, а тут просят русского генетика поехать, чтобы создать генетическую лабораторию, фактически учить – не зулу-сов, а немцев.

Ситуация была, конечно, обольстительно редкая: молодой русский ученый двадцати пяти лет едет в Германию, откуда всегда везли «учености плоды», везет туда русские плоды.

А у Кольцова был и другой мотив:

– Там гоняться по лекциям не надо, жалованье обеспеченное, можно будет полностью заняться исследованиями, генетикой, то есть наукой и ничем другим. А организационный период? Так это же немцы, у них будет *Ordnung* – полный порядок. Сказано – сделано, сделано – переделывать не надо. Новая работа избавит от перегрузок, от отвлекающих забот. Ну и что ж, что басурманы, – немецкий-то язык вы знаете.

Немецкий он знал хорошо, немецкий и французский. И гимназия, и домашние учителя сделали свое. Что же касается обучения «басурман», то тут Семашко был не совсем прав – бывало и раньше, что русские ездили за границу учить. Взять хотя бы отца Колюши Владимира Николаевича Тимофеева-Ресовского. Отец окончил физико-математический факультет Петербургского университета. Поехал в Среднюю Азию в 1871 году наблюдать какое-то затмение. Но вместо затмения посмотрел окрест и ужаснулся состоянию земной поверхности отечества нашего. Подобно Радищеву, «душа его уязвлена стала», но не страданиями человеческими, а состоянием дорог, первобытной беспутницей, от которой происходила тьма, глухомань, бескультурье и несправность. Никаких средств сообщения на тысячи километров! И так это его пронзило, что махнул он рукой на ученую свою карьеру, на астрономию. Диссертацию-то он защитил блестяще, а затем, приведя в изумление и печаль окружающих, поступил в только что реорганизованный Институт инженеров путей сообщения. Изучал он там чисто инженерные предметы, покончил с институтом за два года и немедленно отправился на строительство дорог. С тех пор строил и строил железные дороги. Прокладывал версту за верстой, как дорогу к будущему России. Железная дорога была для него средством одолеть отсталость российскую, невежество и бедность народа. Первая его самостоятельная дорога была в Сибири, северное начало Великого Сибирского пути: Екатеринбург – Тюмень. А последняя его дорога была Одесса – Бахмач со знаменитым тогда инженерным сооружением – мостом через Днепр. Всего он настроил около шестнадцати тысяч верст железных дорог. В том числе была дорога Эльтон – Баскунчак с выходом к волжской пристани. Дорога небольшая, но особая: шла она через засоленную пустыню, и ему пришлось решать связанные с этим строительные проблемы. После этого отца пригласила англо-французская смешанная компания в Северную Африку. Там хотели строить дорогу от Марокко к границе Сахары. Старший Тимофеев-Ресовский отправился «учить басурман», как и что делать в условиях пустыни. Не часто русского инженера англичане и французы приглашали руководить строительством. От руководства Владимир Николаевич отказался, согласился быть консультантом. Он говорил: к своим жуликам я уже привык, знаю, как с ними обходиться, а басурманских жуликов изучать не хочу. Жаль, что Колюшу мало интересовали тогда отцовские дела; может, оттого, что жизнь отца проходила в разъездах, отлучках, видел он его нечасто. Колюша родился, когда отцу было пятьдесят лет. Что он хорошо помнил, так это рассказы отца про охоту в Африке на слонов, антилоп и гепардов.

Выходило, что ехать за границу «учить басурман», можно сказать, была потомственная тимофеевская традиция. Лелька тоже присоединилась к уговорам Кольцова и Семашко.

«Если до двадцати восьми лет ничего существенного в науке не сделал, то и не сделаешь» – фразу эту он будет потом повторять молодым, не жалея их. Беспощадная фраза. В 1925 году у него вроде бы еще оставалось какое-то время в запасе. Да кроме того, он уже и сделал кое-что путное. Но существенное ли? Он знал, что должен вот-вот что-то такое ухватить, это был самый азарт, самая горячка работы... И то, что в Германии можно будет не отвлекаться на преподавание ради заработка, решило дело. Он согласился.

Командировка, почетная командировка, ему завидовали, а он вздыхал. Более всего он сожалел, что лишился четвериковского Дрозсоора.

Рассказывая про те годы, он снова и снова возвращался к Дрозсоору.

– Вы знаете, я вам прошлый раз не рассказал про Александра Николаевича Промптова. Он тоже входил в Дрозсоор...

– Вы упоминали его.

– Да разве в упоминании дело? Он же был не только генетик, он был еще орнитолог и любитель пения птиц. Птичье пение заслуживает отдельной науки. Промптов мог подражать всем воробьиным птицам Средней России. Тогда магнитофонов и прочих хитростей не было, записать пение и чириканье было не на чем. Он запоминал. Все свободное время он проводил в полях и рощах, наблюдая птиц. По чести говоря, он наверняка умел говорить с птицами, во всяком случае с воробьиными. Был он горбатенький, хроменький, на вид убогий, а король птичий! К тому же он сделал еще несколько первоклассных работ по генетике скелетов птиц... А про Астаурова я вам рассказывал?..

Ничто не доставляло ему такого удовольствия, как рассказывать про талантливых людей. Восхищение талантами других – редкая вещь и в науке, и в искусстве. Похоже, он начисто был лишен зависти. Рассказывая о С. С. Четверикове, Н. И. Вавилове, В. И. Вернадском, он, сняв шляпу, раскланивался перед ними со всем почтением. Они принадлежали к его ордену, где требуются три качества: талант, порядочность и трудолюбие. Он чтил не только ученых первого ряда. Заботливо вытаскивал он из забвения зоологов, ихтиологов, какого-нибудь ботаника Зверева, отдавал должное их работам, их человеческим качествам. Похоже, что он знал весомость своего слова. Своей похвалой он как бы награждал. Его характеристики расставляли все по своим истинным местам, отбрасывая казенную славу. Если он назвал, например, Тахтаджяна лучшим нашим ботаником, то, значит, так оно и было, и никого не смущало, что Тахтаджяна еще не скоро выбрали академиком. Но признали, дошло до всех, во всем мире признали. Если он говорил, что Блюменфельд самый умный человек, то все принимали это как должное.

Но так же безжалостно и бесстрашно он умел разделять бездарность всех рангов, особенно претендующую. Во времена Дрозсоора был такой Вендровский. Он ходил в португее и полувоенной форме. Колюша пел ему вслед: «Когда легковушен и молод я был, военную форму я страстно любил». Вендровский кипятился, обижался и в конце концов написал на Колюшу жалобу.

Глава шестнадцатая

Противиться Кольцову было трудно. Он был беспощаден ко всякого рода глупости – сентиментальной, романтической, беспечной. Многие его не любили, считали хмурым, нелюбезным. Боялись, потому что всякую глупость он высмеивал, подчеркивая разницу уровней. То есть если ты плохо соображаешь, то он тебе показывал, как ты плохо соображаешь. Но к тем, кого любил и ценил, он относился просто и сердечно.

В Дрозсооре считали, что нет никакого смысла принимать во внимание возраст участников, когда обсуждается научная проблема. Со времен древних греков ни возраст, ни положение, ни дружба не являются защитой. Мог же семнадцатилетний Аристотель сказать о шестидесятилетнем своем учителе: «Платон мне друг, но истина дороже!»

Для Кольцова тоже не существовало разницы возрастов и положений. Брак Колюшин он одобрил и обоих новобрачных принял в свои друзья.

Кольцов воспринимался одновременно и как большой начальник, и как большой ученый. В те годы считалось нормальным, что авторитет ученого и руководителя совпадает. Руководителю никто не писал диссертации. При нем подчиненные боялись обнаружить свою бездарность. Бездарный не мог получить особых преимуществ перед способным. После революции было неприветливое, невыгодное время для посредственностей и проходимцев, не вышло им льгот, поэтому они не стремились в науку. Не директоров избирали в Академию, а академиков назначали директорами.

Наука была тощей, с пустым кошельком. Монографии печатались на оберточной бумаге, академических пайков не было. И тем не менее наука чувствовала себя неплохо. Голодная диета не мешала энтузиазму. В то время совершалось немало глупостей, но было и немало умнейших, мудрых акций.

Нарком просвещения А. В. Луначарский пригласил Владимира Михайловича Шимкевича стать ректором Ленинградского университета. Крупнейший специалист по беспозвоночным, академик Шимкевич был убежденным дарвинистом, материалистом и при этом членом кадетской партии. Луначарского это не смущало. Профессура была поражена: большевики доверяют кадету университет! Луначарский знал, что делал: во-первых, Шимкевич был человек неподкупной честности, во-вторых, акт этот удержал в университете многих ученых, привлек их симпатии к новой власти. В длинном коридоре университета, по которому шутники устраивали гонки на роликах, стояли столики с надписями: «Эсеры», «Меньшевики», «Большевики». Студенты митинговали, партии вербовали молодежь. Шимкевич, да и власть относились к этому спокойно; и до самой смерти он добросовестно руководил университетом. Студентов он увлек созданием естественно-научного института в Петергофе; в имении герцога Лихтенбергского организовывались новые лаборатории: гидробиологии Дерюгина, лаборатории Д. Насонова, Костычева, В. Догеля, Ю. Филипченко. Золотая пора! Юрий Иванович Полянский, студент-дипломник тех лет, вспоминает о ней как о самом счастливом времени своей ученой жизни. До революции подобного настроения не было, тут же все вдруг убедились, что новая власть за науку не на словах, а на деле.

Бедность, в которой жили и профессора, и студенты, была экономически оправданной, всем понятной, а кроме того, в ней было равенство, то самое, что, казалось, шло от священных заветов Великой французской революции, – свобода, равенство и братство!

Тимофеевы заметили свою бедность, лишь когда стали собираться в Германию. Выяснилось, что ехать-то не в чем. Ни обуви, ни одежды нет. У Колюши имелось бывшее полугалифе, некогда синее, ныне же, по случаю полной заношенности, неровного цвета: где темно-серого, где светло-невыразимого. Зато имелись «танки» – выходные английские военные сапоги, которые шнуровались до самого верха. Шнурки давно порвались, их заменила пеньковая бечева,

окрашенная тушью. Свои «танки» Колюша еженедельно мазал касторкой, поскольку он знал, что она токсична для гнилостных бактерий. «Танки» не гнили и стали абсолютно водонепроницаемыми. Были остатки солдатской гимнастерки, летние штаны из посконной холстины, имелось пять рубах. Летом он ходил босиком, к зиме надевал шерстяные лапти: рабочая обувь. Старушки плели такие лапотки, подошву – из шпагата. Ехать во всем этом за границу, где штучки-брючки, пиджачки-котелки, было невозможно. Купить? Фогт предложил оплатить переезд, дать нечто вроде подъемных. Но Колюша высокомерно отказался. С какой стати брать у немцев незаработанные деньги, одалживаться? Вел он себя барственно. Всю жизнь вел себя так. От того, чтобы ему наняли в Берлине меблированные комнаты, тоже отказался. Сами найдем! Никаких услуг задарма не принимал. Самолюбие не позволяло, точнее – гонор. Чтобы не подумали, что по бедности подачки принимает.

Лельке тетка сшила нарядные платья из каких-то шелковых штор. Ему же приобрели одну серую рубашку с запасом пристежных воротничков, две пары трусов, и был найден портной, который согласился из огромного старого плаща Лелькиного дядюшки сшить костюм-тройку. Все промерил, и выходило как раз – пиджак, брюки и жилетка. Никаких других возможностей не было, ибо весь дореволюционный гардероб проели. Правда, нашелся студенческий парадный китель отца – белый с золотыми пуговицами, со стоячим воротником, в кителе были прорези для шпаги. Но все решили, что это – не костюм двадцатого века, и переделать его не было никакой возможности. Наодолжив денег у друзей, приобрели полуботинки и две пары запасных шнурков. С костюмом уже в дороге начались неприятности: на локтях и на коленях стали вздуваться пузыри. Никакой утюжкой разгладить их не удавалось. Материал плащевой, что ли, был такой – леший его знает. Одно выручало: врожденная статья Колюши. Ни в какой одежде он не выглядел смешным, тем более провинциальным вахлаком. Украсить его эти пузыри не могли, но он их не чувствовал, поэтому существовал и воспринимался независимо от них. Тем более что бедности в то время интеллигенция не стыдилась.

Поезд нес их сквозь знойное июльское марево. Зреющие поля, деревни, пестрые от белого теса новых домов... Шел 1925 год. Разгар нэпа. На станциях бойко торговали жареными курами, топленным молоком, пышными пирогами с визигой, самодельной ветчиной. Колюша всю дорогу отъедался и пел. Вдоль обочин высились груды ржавого железа. Ломовые лошади таскали на телегах к станциям остатки самолетов, броневиков, орудий – мусор знаменитых сражений; чертыхаясь, его убирали с полей. На что пойдет этот лом? Никто не предполагал, что когда-нибудь его переплавят на новые пушки. Германия, во всяком случае, воевать больше не будет. Потянулись разоренные, нищие польские селения, разбитые костелы, каменные распятия на перекрестках. Кто выиграл эту войну? Сорняки, которые заволокли поля? Пузырь имперского тщеславия лопнул смрадно и кроваво.

Смешно вспоминать – он ехал в Германию без всякого трепета, чуть ли не с миссионерской самонадеянностью – обучать немцев, насаждать генетику, создавать кадры, просвещать бедных тевтонов. Про себя опасался, знал, что не такими уж безнадежно темными они были, но чувство превосходства в нем играло.

Никаких удостоверений, бумаг он не взял, диплома тоже не было, было лишь то самое письмо Н. К. Кольцова, в котором говорилось, что Тимофеев-Ресовский его ученик, обучен и рекомендуется им.

Хмуро посапывая в усы, Кольцов сказал, прощаясь: «Перевернуть жизнь, не дать ей залежаться – уже хорошо».

Можно было подумать, что он завидовал Колюше. Во всяком случае, нужды Фогта его заботили куда меньше, чем счастливый случай, который он хотел во что бы то ни стало использовать для своего ученика.

Глава семнадцатая

Институт помещался в Бухе, берлинском пригороде. Тут же и поселились. И первым делом Колюша затеял лабораторный треп наподобие московского Дрозсоора. Собирались у Тимофеевых дома. В лаборатории чем неудобно? Надо ждать, пока уйдут уборщицы. А дома хорошо. Чаек попивают и треплются. Немцы к такому домашнему сборсоору непривычные. Они больше по пивным собираются.

– Ну, мы их приохочивали к самоварному застолью на свой манер. Хошь не хошь – ходили. В генетике они невинные были, приходилось приучать их размышлять. А это куда как трудно. Чтобы взрослого человека, да еще считающего себя ученым, заставить думать – легче кошку выдрессировать.

Все делалось по испытанному московскому образцу. В Москве собирались у Четверикова, у Ромашовых или у Тимофеевых – на квартирах треп шел свободнее, чем в лаборатории. Немцы к себе домой не звали, все трепы происходили у Тимофеевых в их тесной квартирке.

Бух находился в двадцати пяти километрах от центра Берлина. Сейчас Бух – это Берлин, а тогда между Бухом и собственно началом Берлина было примерно десять километров. Так что жили и работали как бы на отшибе, что во всех смыслах было удобно. В Бухе были выстроены огромные больничные корпуса на четыре с половиной тысячи коек, туберкулезная клиника на две с половиной тысячи коек, многие другие клиники, всего на пятнадцать тысяч коек с обслуживающим персоналом и институтами.

Какое счастье было работать, ни на что не отвлекаясь. Работать с утра до ночи – ничего слаще быть не могло.

Во-первых, он закончил работу по фенотипике – действие генов и их совокупности в ходе развития особи – отличную работу; затем в 1927 году вместе с Лелькой – две хорошие работы по популяционной генетике. Это обосновало важнейшие идеи С. С. Четверикова.

Он расширил фронт своих исследований, чувствуя в себе все растущие силы. Он привлекает к своим работам физиков Макса Дельбрюка и Карла Гюнтера Циммера. Сокращенно его звали Ка-Ге. Все имели прозвища или клички. Колюша, кроме Колюши, получил еще короткое и легкое имя – Тим. Ка-Ге был флегматично нетороплив, невозмутим, работал методично, не спеша и поэтому успевал сконструировать все необходимые установки для облучения разными видами лучей, создал методику измерения доз облучения, которой пользуются и поныне. Как рассказывает Николай Викторович Лучник, они прекрасно дополняли друг друга, Тим и Ка-Ге: горячий, нетерпеливый, шумный – и медлительный, попыхивающий трубочкой над чашкой черного кофе... Казалось бы, несхожесть, казалось бы, противоположность. Тем не менее сошлись, и на многие годы. Противоположны не значит противоположены. «Ка-Ге был экспериментатором, – рассказывает Лучник. – Для обсуждения безумных идей у Тимофеева были другие друзья – физик-теоретик Макс Дельбрюк, Паскуаль Йордан, Джон Бернал». (Тут Зубр неизменно басит: «Голубь мира».)

В данном случае «Зубр» означает уже другое время, пятидесятые-шестидесятые годы. Для многих, прежде всего для сверстников, он оставался Колюшей, для тех, кто знакомился с ним в зрелости, он был Тим. Прозвищ ему хватало, он и сам раздавал их достаточно щедро.

– Что это за человек, – удивлялся он, – если ему нельзя дать никакого прозвища, это совершенно невыразительный человек.

С Германией у Советской страны в двадцатые годы были наиболее дружественные отношения. После Рапальского договора 1922 года Германия первая устанавливает дипломатические отношения с молодой Советской страной, налаживает торговлю, позже заключает договор о дружбе и нейтралитете. Создаются совместные издательства, акционерные компании. Про-

входятся встречи советских и немецких физиков, электротехников, химиков. Выходят немецко-русские журналы.

Поразительно быстро завоевал он авторитет, этот русский, командированный из Советской России. Надо отдать должное и немцам, и всей тогдашней научной среде: русский, советский – их это нисколько не смущало, так же как и его молодость и самоуверенность.

Кроме того, наше мнение о нас самих влияет на мнение других о нас, а мнения о себе Колюша был высокого.

В 1926 году С. С. Четвериков напечатал теоретическую работу, которая стала классической: «О некоторых моментах эволюционного процесса с точки зрения генетики». Он показал, что природные популяции не обходятся без внешнего давления. Поэтому надо ожидать, что популяции содержат много разных мутаций. Они впитывают их в себя, как губки. Колюша экспериментально подтвердил этот вывод. Наловив несколько сотен мух, он получает потомство и выживает оттуда двадцать пять разных мутаций. В 1927 году он публикует «Генетический анализ природных популяций дрозофилы». В том же году С. С. Четвериков приезжает в Берлин на V Международный генетический конгресс и делает доклад на эту тему. Самое желанное, самое душеласкательное, что может быть в науке, – когда найденное на кончике пера предстает в эксперименте зримой – в красках, в подробностях – явью. Сон, который вдруг сбывается, даже не сон, а сладкое виденье!

Публикация произвела впечатление в разных странах. Генетики бросились проверять открытие на других объектах. Сам же Колюша продолжал эти работы уже вполсилы. Почему? Имелась же замечательная перспектива! Можно было пожинать и пожинать...

– Ученый должен быть достаточно ленив, – объяснял мне Зубр. – На этот счет у англичан есть прекрасное правило: не стоит делать того, что все равно сделают немцы.

Он занялся обратными мутациями: не появится ли у дрозофил-мутантов возврат к норме? Тогда была гипотеза, что всякая мутация разрушает ген. Ему не верилось в это. Если разрушает, тогда не должно быть обратных мутаций, а их удалось получить. Можно надеть перчатку и выбить стекло в окне, но таким же ударом стекла не вставишь. Есть примеры и сравнения, которые действовали сильнее научных доводов.

Одновременно он выясняет, как влияет отбор и внешние условия на разные проявления определенной мутации. Год за годом уходил на обработку тысяч, десятков тысяч мушек. Поколение за поколением, воздействие, проверка, подсчеты. Семь лет потребовала эта работа. В 1934 году удалось наконец опубликовать итоги. Сперва он публиковал большую статью или даже книгу, затем, после того как проблема прояснялась, устаивалась, печатал краткую статью, которая итожила и оставалась надолго. Потому что любую работу можно изложить кратко, ежели, конечно, сам до конца ее понял. Довести до самой что ни на есть простоты – это и есть настоящая наука.

Он пришел к выводу, который многое определил: все исходное должно быть просто.

Однажды он услышал от Нильса Бора и усвоил на всю жизнь: если человек не понимает проблемы, он пишет много формул, а когда поймет, в чем дело, их останется в лучшем случае две.

Одновременно он занимается радиационной генетикой – мощные дозы, жесткое излучение и тому подобное. В результате в Геттингене была опубликована знаменитая «Зеленая тетрадь», написанная им вместе с Максом Дельбрюком и К. Г. Циммером.

– Вы не слышали про «Зеленую тетрадь»? – спрашивает он меня.

– Не слышал, – признаюсь я.

Чем меньше я знаю, тем лучше и обстоятельнее он рассказывает, не проскакивая, вдалбливая в мою пустую голову элементарные сведения. Иногда я провоцирую его ради удовольствия послушать, но про «Зеленую тетрадь» я действительно ничего не знаю. Его удручает мое

невежество, как если бы я не знал про «Зеленую лампу» декабристов, про «зеленую революцию»...

Я не собираюсь описывать его научные достижения, не мое это дело. Не о них я пишу, я рассказываю про одну человеческую жизнь, которая, как мне кажется, стоит внимания и размышлений.

Он бранит мою серость, ему стыдно, что я не в курсе вещей, необходимых каждому культурному человеку, а я сетую про себя на самомнение ученых. Им кажется, что гром открытия ДНК, хромосом, двойной спирали отдается во всех сердцах. Человечество ликует – еще одна тайна устройства жизни приоткрылась! Всемирный праздник отмечен салютами, ибо нет ничего важнее этих событий, все остальное постольку-поскольку.

Вместо этого неблагодарный обыватель ставит памятник Черчиллю, зачитывается книгами о Мэрилин Монро, киоскеры продают открытки с портретами «Битлз», толпы любителей выпрашивают автографы у Карпова. Что это за мир, где прыгунов и генералов знают лучше, чем гениев, разгадывающих шифры природы!

За открытием следовали будни, когда вперед удавалось продвигаться еле-еле, маленькими шажками. Это было скучно. Он решил заняться эволюцией на материале чаек и дубровника, их систематикой. Ставил опыты по жизнеспособности определенных мутаций. Постепенно формировалось количественное изучение пусковых механизмов эволюции. Ему удалось определить минимум популяции и максимум популяции. Разница бывает колоссальная. Бывает, что в какой-то год отдельная популяция размножается вдруг до гигантских размеров. Например, гнус на Севере. Даже суточные колебания гнуса достигают от единиц до десятка миллионов. Сезонные размахи могут оказаться мириадными, вообще невообразимыми. Или столько дубовых шелкопрядов разведется, что деревья голыми стоят. И тогда незамеченная мутация получает вдруг гигантское распространение, перепрыгивает этапы, на которые потребовались бы тысячи лет. Развивая давние идеи Четверикова, Колюша искал механизм волн жизни. В чем их смысл? Какую роль эти волны жизни играют в эволюции? Много лет он обдумывает, изучает эти явления. В 1938 году он делает сенсационный доклад на годичном собрании Генетического общества «Генетика и эволюция с точки зрения зоолога», в 1940 году участвует в книге, которую составляет Джулиан Хаксли, «Новая систематика», книге, посвященной генетике и эволюции. Там крупнейшие биологи мира пишут по главе. Зубр писал третью, а Вавилов заключительную. Джулиан Хаксли был братом замечательного английского писателя Олдоса Хаксли. Хотя Зубр считал наоборот – Олдоса братом знаменитых биологов Джулиана и Эндрю, внуков Томаса Хаксли, которого называли «бульдогом Дарвина» за пропаганду и защиту дарвиновской теории.

К тому времени его дружба с физиками окрепла. Бывая в Копенгагене на боровских коллоквиумах, он стал переманивать физиков, желающих заняться проблемами биологии. Они решили отделиться от Бора, создать свой собственный международный биотреп.

Но до этого, в конце двадцатых – начале тридцатых годов, произошло прозрение.

– Мы с Максом Дельбрюком, потом и Полем Дираком увидели, что всюду, где какие-то элементарные существа размножаются, строят себе подобных рядом, – всюду имеется удвоение молекул, репликация... Одно из главных проявлений жизни состоит не в том, что нарастает масса живого, а в том, что множится число элементарных особей. Некое элементарное существо строит себе подобное и отталкивает его от себя, давая начало новому индивиду.

Денег на треп добились у Рокфеллеровского фонда. Собралось четырнадцать человек, все – звезды первой величины. Генетик Дельбрюк, цитолог Касперсон; биологи: Баур, Штуббе, Эфрусси, Дарлингтон; физики: Гейзенберг, Йордан, Дирак, Бернал, Ли, Оже, Иеррен, Астон. Съезжались они на каком-нибудь шикарном курорте в несезон, когда номера дешевы.

На всех семинарах, коллоквиумах, встречах, во всех своих выступлениях он ссылался на работы Кольцова, Четверикова, Вернадского и других русских. Если Томас Хаксли заслу-

жил прозвище «бульдог Дарвина», то Колюшу можно было назвать «бульдогом русских». Во многом благодаря ему вклад русских ученых в биологию стал вырисовываться перед мировой наукой. Вклад этот оказался – неожиданно для Запада – велик, а главное, плодоносен: давал множество новых идей.

Молодые ученые, которых он соблазнил, и тогда уже совсем не напоминали кабинетных затворников. Их можно сравнить с нынешними молодыми физиками, кибернетиками – с этими аквалангистами, альпинистами, танцорами, ловеласами, знатоками поэзии и буддизма. Просто тогда их было мало, об их времяпрепровождении, об их облике мало кто знал. А между тем они умели жить весело, ничуть не заботясь о своей репутации.

На этих биотрепах надумали вычерчивать изолинии. Вайскопф и Гамов разработали так называемые изокалы, кривые женской красоты, наподобие изотерм, температурных кривых. Вычерчивали их на карте Европы. Каждый научный сотрудник, куда бы он ни приезжал, должен был выставлять отметки местным красавицам. Задача была выявить, как по Европе распределяются красивые женщины, где их больше, где меньше. Сбор сведений шел повсюду. Розетти присылал их из Италии, Чедвик – из Англии, Оже – из Франции. Большой частью наблюдения велись на улицах. Встреченным женщинам выставлялись отметки по пятибалльной системе. Наблюдатель прогуливался с друзьями, которые помогали вести подсчеты и придерживаться объективности. Отметку «четыре» ставили тем, на кого наблюдатель обращал внимание приятелей; отметку «пять» – тем, на кого он не обращал внимание приятелей; отметку «три» – тем женщинам, которые обращали внимание на них. Собирались данные, допустим, на тысячу встреченных женщин, обрабатывались статистически и наносились изокалы. Максимум красавиц приходился на Далмацию, Сербию, в Италии – на Болонью, Тоскану. В Средней Европе особых пиков не было. У Розетти висела большая карта, на которой вычерчены были изокалы за несколько лет энергичных наблюдений.

На буховский треп стали приезжать из других городов. Пришлось перенести из-за этого треп на субботы. Отдел стал расти, достиг восьмидесяти человек, большущий по тем временам для европейской науки. Кооперация с физиками привлекала своей принципиальной новизной.

Макс Дельбрюк, ученик Бора и Борна, внук одного из создателей органической химии, был молод, самоуверен, нагл.

– Мы с ним тоже нагло обращались. Это его быстро отрезвило!

Дельбрюк работал у Бора в Копенгагене с Гамовым, а в 1932 году вернулся в Берлин и стал ассистентом у Отто Гана и Лизы Мейтнер в Кайзер-Вильгельм-Институте. Один из главных его интересов сосредоточился на тайне природы гена. К тому времени генетический анализ дрозофил позволил Зубру измерить ген, величина которого оказалась сравнима с размером молекулы. Сходные данные получили и в вавилонском институте в Москве.

Ген есть особый вид молекулы, но стало ясно, что это уже элемент жизни. Наконец-то они его ощутили, ухватили...

Все это было в их совместной статье. Внимания она особого в то время не привлекла. Почва для нее не была готова. Она появилась чуть раньше положенного. Открытие должно появляться вовремя, иначе о нем забудут. Небольшое упреждение необходимо, но именно – небольшое, как в стрельбе по летящей цели.

Позже, однако, на эту статью сослался Шрёдингер в своей шумевшей книге «Что такое жизнь с точки зрения физика», и тогда открытие Зубра стало сенсацией.

Биология, генетика, радиационная генетика двигались вперед во всех европейских странах и в США, через лаборатории Англии, Франции, Швеции, Германии, России, Италии, но участок в Бухе заметно выдавался вперед. Почему? В чем состояло преимущество этого русского? Да в том, что кроме бурного его таланта он сумел собрать подле себя дружину, он действовал не один, в окружении не лаборантов и помощников, а скорее – соратников, сомысленников. Он был не одинокий охотник в заповедных лесах, он атаманил со своими молодцами,

его дар соединился с дарованиями тоже ярких и самобытных ученых. Он умел, как никто другой, воодушевлять, поджигать самые негорючие натуры. Сложившийся в России Дрозсоор был тоже открытием, и он, Колюша, а теперь Тим, внедрял его, держался за него да к тому же и полюбил эту форму работы – шумную, веселую, компанейскую.

Младший сын Тимофеевых Андрей Николаевич вспоминает: «Мебель у нас в доме была вся сборная: покрашенный в черный цвет дубовый шкаф, маленький письменный столик отца. Бедно было, беднее, чем у любого немецкого бюргера. Я однажды зашел к садовнику в Бухе, который жил напротив, помню, как меня поразили зеркала, кресла. Зато народу у нас по субботам – воскресеньям собиралось много. Ходили за грибами. Это отец приучил всех. В субботу многие оставались ночевать. Раскладушки деревянные устанавливались во всех комнатах. Окна у нас выходили в парк. Жили мы на первом этаже. Утром в воскресенье многие вылезали в окна, а не через дверь. Такой стиль был. Русские наезжали сами, немцев приглашали. Кто-то что-то привезет, помогали маме готовить. Мы с отцом варили оксеншванцензуппе (суп из бычьих хвостов)...»

Глава восемнадцатая

Прежде всего меня, конечно, интересовали русские друзья Зубра. Кто они такие? Берлин в двадцатых – начале тридцатых годов был центром русского зарубежья. С кем из русских общались? Кое-что мне рассказывал сам Зубр, кое-что было в рассказах Андрея. Жизнь русской послереволюционной эмиграции интересовала меня давно, приходилось с этими людьми сталкиваться за границей, встречи оставляли сильное впечатление особой, ни с чем не сравнимой горечи, которой была пропитана жизнь этих людей, а еще тем, что русская эмиграция удивительно много дала европейской культуре, науке. Вклад этот у нас мало известен, недооценивается, как, впрочем, и на Западе. Можно назвать сотни имен в физике, химии, философии, литературе, биологии, живописи, скульптуре, имен людей, которые создали целые направления, школы, сами явили миру великие примеры народного гения.

С русской эмиграцией Тимофеевы общались мало, они были слишком поглощены работой, а кроме того, к ним как к советским людям, советским подданным белогвардейские круги относились подозрительно.

Дружба была с Сергеем Жаровым. Жаров, дружок его, как раз к революции окончил Синодальное училище. С какими-то казачьими частями мальчишкой эвакуировался за границу. Ткнулся туда-сюда, назад ходу не было. Мыкался он на разных работах, потом в Вене в 1922 году организовал мужской хор. Был он исключительно одаренным музыкантом и оказался к тому же великолепным организатором. В хоре он держал тридцать шесть человек. Из них тридцать певцов, четыре плясуна, завхоз и он, Жаров. Никаких солистов. И он, и остальные хористы получали одинаково. Этим самым исключалась зависть – беда всякого художественного коллектива. Обосновал он это так: если у тебя хороший голос и ты можешь солировать, так кому я буду платить за это, Господу Богу? Он же, голос, у тебя от Бога, бесплатно, Божий дар. Дисциплину держал железную. Если кто на спевку придет выпивши, иди прочь.

О Жарове Зубр потом любил рассказывать. И мы любили слушать, потому что ничего не знали о таком явлении, между прочим примечательном в истории русского искусства. К тому же у Зубра имелось несколько пластинок с записями жаровского хора, и он демонстрировал их, подпевая.

– Они год репетировали программу, а с девятьсот двадцать третьего стали концерттировать и сорок пять лет концерттируют. К концу двадцатых годов стали зарабатывать сколько хотели. Больше немецкого профессора получали. И сверх того получали много, и это «сверх того» шло на стипендии русской молодежи. Помогали детям русских получать образование, становиться на ноги. Сережка Жаров и лады знал, и гласы, и сам аранжировал. Программа у него из трех частей была: первая – казачьи песни, вторая – военные, третья – хоровые переложения. Рахманинова прелюды перекладывал, да так, что сам Рахманинов благодарил его. Я вообще против переложений, но тут они меня покорили. Когда они жили в Берлине, там у них была штаб-квартира, каждую субботу устраивали коллоквиум. Музыковеды делали доклады, все крупные музыканты, дирижеры, бывая в Берлине, бывали у них. Писатели их посещали, ученые. Русские, конечно, в первую очередь. Метальников при мне рассказывал им про бессмертие простейших... Ох ты господи, да Метальников, к вашему сведению, еще до революции во Францию уехал и заведовал в Институте Пастера отделом. До него заведовали Мечников, потом Безредка, потом Гамалея и уже потом Метальников. Это же наши корифеи, гордость, полагалось бы знать их... Габричевский у жаровцев на коллоквиумах выступал, Евреинов, Мозжухин, кроме Рахманинова еще такой композитор, как Глазунов. Гречанинова я там слушал... Эти хористы высококультурные люди были. Стравинский к ним наезжал, Роберт Энгель сделал доклад о русском колокольном звоне и о производстве колоколов. Борис Зайцев читал

свои рассказы, Ремизов читал, очень занятный писатель Осоргин бывал у них. Ну, естественно, певцы – Держинская, Петров. Был у них Ершов...

Его перебивает один доктор наук, филолог, которому давно уже невтерпеж:

– А Осоргин, это что же за писатель? Фельетонист?

– Осоргин, к вашему сведению, романист, отличный писатель, роман «Сивцев Вражек» не читали?

Доктору кажется, что он знает литературу, искусство, уж это по его части, и всякий раз убеждается, что о многом понятия не имеет. Он злится. Впервые он слышит о Жарове, впервые о Гречанинове, то есть слышал что-то, вроде как о «Могучей кучке», но вот перед ним сидит человек, который прогуливался с Александром Тихоновичем Гречаниновым по Унтерден-Линден. Всякий раз доктор попадает впросак. Никак он не может примириться с превосходством Зубра в разных искусствах, не понимает, что это несоответствие не знаний, а жизни, аналогичное тому, как если бы он пришел на спектакль со второго действия и поэтому не понимает, путается.

Сам Колюша рассказывал жаровцам о боровской методологии естествознания, о популяционной генетике, о том, как помогал Грабарю реставрировать фрески. В 1919 году он рассчитал целых три недели каких-то ангелов, трубящих в Дмитриевском соборе во Владимире.

Потом у Жарова произошла катастрофа. Переезжал хор на двух автобусах из города в город по горной дороге Америки, первый автобус сорвался в пропасть. Все погибли. Там была жена Жарова и половина хора. После этого они год не выступали... Потом пополнили состав. Конкурс к ним был огромный, со всего мира. Попасть в хор к Жарову было не менее трудно, чем в «Ла Скала». Вакансия у них открывалась только за смертью или выбытием, как в Лондонском Королевском обществе.

Зубр, рассказывая о жаровцах, и восхищался ими, и завидовал возможности попеть в хоре во всю силищу своего голоса, который уставал умерять. Широченная грудь его расправлялась, плечи раздвигались, и непривычное мечтательно-счастливое выражение смягчало его черты...

Дружба была и с Олегом Цингером, сыном замечательного русского физика, автора учебника «Начальная физика». Эта книга и задачник А. В. Цингера много лет служили русской и советской школе. Поэтому Александра Васильевича Цингера считают физиком, и сам он так себя считал, а знаменитую книгу «Занимательная ботаника» приписывали его брату Николаю Васильевичу, выдающемуся русскому ботанику. На самом деле «Занимательную ботанику» написал физик Александр Васильевич Цингер. В двадцатые годы он поехал лечиться за границу и там, будучи больным, занялся любимым делом – ботаникой. Мне уже несколько раз встречались случаи подобного рода. Владимир Иванович Смирнов, академик-математик, причем блестящий математик, говорил мне, что тайная его страсть – музыка, что всю жизнь он мечтал стать музыкантом. Примерно то же было и с Александром Васильевичем Цингером – любовь к ботанике жила в нем с детства. Можно подумать, что любовь – это одно, а способности – другое и им необязательно совпадать. Возможно, двойственное это чувство перешло к нему от отца – математика и почетного доктора ботаники.

С Олегом Цингером, точнее с его письмами, меня познакомил Зубр. Это были необычные письма – письма с рисунками гуашью. Олег Цингер был художник-анималист, он рисовал животных для разного рода изданий. Рисовал их в зоопарках, в аквариумах, в музеях. Прямо посреди текста письма появлялись великолепные акварельки какого-нибудь зоопарка с индийскими носорогами, неподалеку от которых на стульях сидят посетители. Райская идиллия. Письма писались по-русски на плотной бумаге, годной для краски, писались тушью четким, почти печатным почерком:

«Самый лучший аквариум, который я видел, это был в *Stuttgarten's "Wilhelma"*. Там огромные витрины для пресноводных, экзотических рыб. Устроены они так, что вы сразу

видите сушу, поверхность воды, растения и жизнь под водой. Все эти коралловые рыбы, морские звезды, морские ежи и актинии производят на меня большое впечатление. Особенно рыбы! Меня восхищает утонченный, я бы сказал, рафинированный вкус этих различных форм и окраски. Никак нельзя обвинить рыб в декадентстве и упадничестве. В то же время сочетание цветов, форм, все их “выполнение” создано как бы для знатоков Пикассо, Дягилева, Пьеро делла Франчески, Миро и прочих. Но еще лучше, тоньше и к тому же живые. Не могу оторваться от этих морских рыб. Когда я смотрю на эти новые устройства в аквариумах и в зоопарках, мне становится печально, что этого не было, пока жили мои родители и жил мой друг В. А. Ватагин».

Василий Ватагин, известный художник-анималист, график и скульптор, был учителем Олега Цингера. Ватагин, как и Олег, был влюблен в животных и, соответственно, любил и ценил лучшие зоосады и заповедники, где животные не только выставлялись, но и могли жить хоть более или менее естественно.

«Еще очень хороший зоосад в Антверпене. Он расположен рядом с вокзалом, но там так умно посажены кусты и деревья, что близость вокзала и неприятной части города не чувствуется. Так же, как в Лондоне, имеется *Moonlight World*, то есть дом для ночных животных. Тут можно наблюдать всяких лори, трубказубов, древолазных дикобразов, ящеров, ехидн. Вы идете в полной темноте по коридорам, а перед вами витрина с животными, которые оживают только с наступлением ночи».

Тут же нарисован ночной дом в Антверпенском зоопарке. Олег Цингер описывает зоосады Лондона, Франкфурта, Берлина, Амстердама, Нью-Йорка, Буффало и другие, описывает с таким увлечением, что невозможно оторваться:

«...Хорошие звери очень хорошо устроены в своих витринах и сильно отдалены от нью-йоркской публики. Здесь, в Бронксе, чувствуется, что всех этих кинкажу, куэнду, фосс и сумчатых крыс надо оберегать от публики. Я это очень хорошо понял, когда увидел три десятка негритят, которые барабанили палками по металлическому барьеру и гонялись по всему помещению друг за другом».

Олег Цингер не только анималист, он пишет пейзажи, делает иллюстрации (маслом!) к Гоголю, работает в довольно широком диапазоне. С ним я списался уже после смерти Зубра, и он многое рассказал о жизни Тимофеевых в Берлине.

Они познакомились в Берлине в 1927 году. Их познакомил тот самый художник Василий Алексеевич Ватагин, к которому еще мальчиком привязался Олег Цингер и который приехал специально из Москвы в Берлин, чтобы поработать в Берлинском зоологическом саду. Тогда это было просто. Поселился Ватагин у Тимофеевых, хотя квартирка их была маленькая. С утра Тимофеевы уходили в институт, маленький Митя, то есть Фомка, оставался на попечении некоего Владимира Ивановича Селинова, милейшего человека, который зарабатывал себе на жизнь, набивая табаком гильзы для русских папирос. Прокормиться на такой заработок было нельзя, и Тимофеевы, чтобы ему помочь, взяли его нянькой к сыну и поваром.

Тимофеевы не могли жить, чтобы кому-то не помогать. Селинов стряпать не умел, мог готовить нечто вроде котлет, которыми он кормил всех из месяца в месяц. Но гости приезжали и уезжали, а Тимофеевым деваться от котлет было некуда. Кончилось дело тем, что они заболели от однообразного питания. Зато Селинов хорошо знал русскую поэзию. С Олегом Тимофеевы скоро перешли на «ты», Елена Александровна превратилась в Лельку, а Николай Владимирович – в Колюшу.

Цельными днями Олег Цингер и Ватагин пропадали в зоо, рисуя зверей; в субботы за ними заезжал Колюша, и втроем они отправлялись в балаган. За небольшую цену там можно было смотреть борьбу, бокс и кетч. Три раунда. Потом надо было платить заново. В балагане публика преображалась. До этого приличные, воспитанные люди начинали орать, ругаться, толкали друг друга, плевались, подбадривали атлетов, кидали на арену всякую всячину. «Атлеты»

были татуированные верзилы, имевшие тем больший успех, чем грубее, хамее они на арене себя вели. Устраивали из борьбы целое представление, особенно в кетче, где позволялось все. Терли противника мордой об пол, вывертывали ноги, топтались на спине, кусались, выдирали волосы – и все это с криками, воплями и руганью. Публика приходила в восторг.

«Все это было для меня ново, а особенно нов был Колюша! Я до тех пор такого человека не встречал. У него было какое-то обаяние дикости, под которое я сейчас же попадал. Он орал громче всех: “Пифик, перевернись, дурак!” – он в отчаянье обращался к нам: “Ну и идиот, глуп, туп, неразвит, кривоног, соплив и Богу противен!” Все эти выражения были тоже для меня новы. Он впадал в раж и все воспринимал всерьез. Мы возвращались домой к ужину с опозданием, и Лелька упрекала Колюшу: “Наверное, опять на рундике были!” К ужину подходили гости. Вспоминаю испанского биолога Рафаэля Лоренцо де Но. Колюше он нравился, и поэтому все испанское вызывало у него восторг. Немцев в тот период за что-то не уважал и называл их туземцами. К ужину была всегда самодельная водка, конечно, селиновские котлеты и его же папиросы. Колюша был еще молод, темперамент в нем бурлил. Когда Колюша начинал ходить по комнате и что-либо рассказывать, то новый человек в доме просто обалдевал. На какую тему велись беседы, в конце концов было безразлично. Помню и то, как я был в восторге от него и старался Колюше подражать. Когда Колюша рассказывал о себе, получалось впечатление, что перед вами человек, проживший не одну жизнь. Рассказывал, как он был студентом, казаком, как был где-то ранен, но верная лошадь его спасла. Где-то он голодал и питался в сарае воробьями, которых убивал снежками! Где-то на Украине он отбивался от бешеных собак. Один раз, спрыгнув с дерева, босой упал на гадюку... Все рассказы были красочны, нельзя было ими не восторгаться... Было в них что-то гоголевское, смесь Ноздрева, Хлестакова, да еще с примесью Лескова. Так зарождались вечера у Тимофеевых».

Судя по всему, вечера эти получили известность. Характер Колюши, его нрав, манера разговора, его крик, его фонтанирующий талант – все это невероятно будоражило довольно-таки чинную немецкую научную среду почетнейшего учреждения. Этот неистовый русский втягивал всех в кипучий водоворот своих увлечений. Им угощали как диковинкой, на него приглашали, знакомые зазывали знакомых подивиться, и почти все на этом попадались. Тот, кто хоть раз побывал у Тимофеевых, стремился к ним еще и еще. Пленительно раскованно здесь чувствовали себя все, без различия должностей и возраста. Процветала, разумеется, игра в городки, неведомая прежде в немецких краях. Игра шла под выкрики Колюши, который накачивал азарт. Мазилам он кричал: «Мислюнген! Три раза “почти” – это только у китайцев считается за целое!» Вскоре уважаемые профессора обнаруживали, что и они выкрикивают что-то несусветное.

Со временем Тимофеевы получили при институте квартиру побольше, и немедленно прибавилось гостей. Всем было приятно приехать в субботу за город. Олег Цингер вспоминает, как он привозил к Тимофеевым сына художника Добужинского, библиотекарей Андрея и Дину Вольф, Мамонтова, Ломана, Всеволожского... Затем каждый из них привозил своих друзей. К тому времени в Бухе жил биолог С. Р. Царапкин с семьей, которого тоже откомандировали из Советского Союза в Германию для работы в этом институте. Приехал Саша Фидлер, брат Елены Александровны, были Блинов, Слепков, Кудрявцев и другие, поскольку институт числился германо-советским научным учреждением. Об этом времени рассказано в шуточной поэме «Бухиада», сочиненной Белоцветовым. Кто такой Белоцветов, установить не удалось, но поэма – одна из тех самодельных, какие обожают строчить даже люди с хорошим литературным вкусом для разного рода юбилеев и семейных праздников, – поэма эта чудом сохранилась до наших дней:

Вы помните, когда впервые,
Созрев для славы и побед,

Решать вопросы мировые
К нам прибыл юный муховед.
В те дни мы жили с ним бок о бок.
Слегка растерян, даже робок,
Он был на кролика похож
При виде посторонних рож.
Поденка ль, прачка ли в передней,
Тотчас Колюшенька за дверь —
И в подворотню. Но теперь
Он тоже ментор не последний,
И, окрыленному стократ,
Сам черт ему теперь не брат.

Больные из лечебниц Буха стояли за решеткой своего больничного сквера и наблюдали, как, что-то выкрикивая, вполне, казалось, нормальные люди яростно бросали палки, играя в какую-то варварскую игру. Предводителем у них был босой, волосатый, в распушенной рубахе русский, похожий на атамана шайки. Грива его развевалась, орал он нечто немыслимое.

Каждая фигура в городках имела свое название: «бабушка в окошке», «покойник», «паровоз», – и битие их сопровождалось соответственно сочными комментариями, которые и придавали самый жар игре.

Зимой или в непогоду с таким же азартом играли в блошки. И тут, в этой ерундовой игре, Колюша выкладывался весь. Лежа на столе под лампой, он целился фишкой, нижняя губа его вздрагивала, глаза сверкали, он рычал: «Так ему и надо, сучку! Мислюнген!» Его азарт возбуждал окружающих. Есть люди, которые вселяют спокойствие, он же обладал обратным даром – будоражил, флегматичные натуры вдруг приходили в волнение, его присутствие раскачивало самые инертные, вялые души.

В новой квартире была столовая и просторный кабинет у Колюши. Сюда обычно набивались гости. Колюша ходил из угла в угол и проповедовал, спорил, возглашал. В углах кабинета, там, где он резко поворачивался, скоро протерся ковер.

Точно так же он ходил спустя годы в Обнинске, а до того – на Урале. По этим знакомым мне квартирам я мог представить себе и обстановку его дома в Германии. Хотя ничего толком про обстановку, допустим, в Обнинске я бы рассказать не мог. Помню только стеллажи с папками, куда раскладывались оттиски. И все. Остальное было как-то стерто, обезличено. Дом Тимофеевых отпечатывался людьми, тем, что там делалось, что говорилось.

Мебель, какие-то картины на стенах, обои – все отходило в тень, становилось невидимым. Это был стиль Тимофеевых – безбытность, равнодушие к моде. Никто здесь не интересовался коврами, вазами, посудой, диванами. В квартире было необходимое, чтобы чувствовать себя удобно. Никому в голову не приходило искать стильную мебель, обновлять ее, загромождать жизнь какими-нибудь подсвечниками, креслами, торшерами. И многочисленные гости не видели отсутствия гарнитуров. Это не была бедность, которая бросалась бы в глаза несоответствием положению. Не было ни богатства, ни шика, ни художественного вкуса – ничего, что отвлекало бы или существовало самодовлеюще. Стул был всего лишь предметом, на котором сидели, не более того. Обит ли он тисненой кожей или дерматином – никто не различал. И прежде всего не различал сам Колюша. Так было и в Германии, и в России, так было всегда.

Однажды я спросил его:

– Какую эволюцию вы претерпели?

– Эволюцию? Боюсь, никакой эволюции у меня не было. Однажды я сам стал искать эволюцию в себе и не нашел. Даже неприлично как-то. Что ж я так живу неинтересно, что это

за человек без эволюции? Между тем после восемнадцати лет у меня никакой эволюции не происходило. А потом подумал: что делать, нет так нет, и хрен с ней, проживу без эволюции.

Глава девятнадцатая

Родился еще один сын, Андрей, которого Колюша называл «личность чрезвычайно мало-значущая», но произносил это с необычной для него нежностью. Фому между тем бранил нещадно за школьные промахи. «Глуп, туп, неразвит, разве это учеба, одна грусть и тоска безысходная!» – приговаривал он, ходя из угла в угол кабинета.

«Сколько вечеров провел я в этом кабинете, – вспоминает Олег Цингер, – и что за люди там только не перебивали! Старые друзья, малознакомые ученые, какие-то дамы, юноши, важные немцы, а под конец советские военные. Колюша то впадал в чрезвычайный шовинизм и чрезмерное православие, провозглашал, что самый вшивый русский мужичонка лучше Леонардо да Винчи и этого треклятого Гете (Гёте он всегда произносил как “Гете”). То он доказывал, что немцы после русских самые лучшие, что на немца можно положиться, а что русский все проспигит или пропъет. Из русских художников он более других любил Нестерова и Сурикова. Я предпочитал с ним на эту тему не спорить».

Спорить с ним боялись. И ученики, и друзья. Он буквально сминал их. А между тем чего он жаждал, чего ему не хватало, так это оппонентов, сведущих, достойных противников.

В Советском Союзе на биологических школах, когда сходились вечерком у костра просто так покалякать и начинались всевозможные его рассказы, рано или поздно раздавался вопрос про них, русских за рубежом: как они там, кто они? Огромная эта первая волна русских людей – а было их около трех миллионов, оказавшихся за рубежом, – издавна привлекала, возбуждала особый интерес: были в нем тайная жалость и неосознанное родственное чувство – наши! Может быть, потому, что большей частью люди эти уезжали не по обдуманному собственному решению – их вытолкнули обстоятельства трагические, запутанные, о которых и знаем-то мы плохо. В эмиграции оказалось немало имен блистательных. Когда-то они составляли славу русской мысли, искусства, но и там, на Западе, таланты их большей частью не затерялись. Смутные слухи об их успехах доходили до нас редко, обрывками. Имена их вычеркивались, отношение ко всему русскому, что действовало за рубежом, было исполнено подозрительности.

Зубр рассказывал о них почему-то без охоты, хотя и благожелательно:

– Большинство никакой политикой не занималось и заниматься не желало. На всю жизнь они были напуганы всяческой политикой. Одно слово «политика» вызывало у них тошноту. Они старались где-нибудь пристроиться и вести незаметную, сытую, спокойную жизнь. Среди миллионов эмигрантов политиков было меньшинство. Более же всего было беженцев-трудяг...

Однажды он рассказал то, о чем мы знали совсем мало, а многие и вовсе слышали впервые:

– В девятьсот двадцать втором году – это неоднократно обвиралось – утверждали, что Ленин выгнал из России многих интеллектуалов. А Ленин – интереснейшая акция! – группе лиц, гуманитариев преимущественно, лично предложил: если вы отвергаете революцию, можете уезжать. Понятно, что, скажем, философу-мистику, идеалисту в условиях диктатуры пролетариата и марксизма делать нечего... И многие уехали. Тем более голод, разруха...

Зубр называл Питирима Сорокина, Бердяева, Франка, Шестова, Лосского, Степуна, литературоведов, античников, журналистов... Это была группа человек в двести. Причем большинство из них вплоть до Второй мировой войны жили в Европе на любопытном положении: они имели советские паспорта, числились формально советскими гражданами без права въезда в СССР. Были три главных центра, где осели эти выехавшие: Берлин, Прага, Париж. В Праге большую роль сыграл так называемый Русский вольный университет, где однажды Зубр читал лекцию. Создали его вокруг кондаковского семинара. И он изложил целую повесть о Кондакове – академике, историке, блестящем специалисте по старой русской живописи, иконам и

фрескам. Был он старик, умер в 1925 году, но успел при жизни наладить семинар, в который привлек лучших русских ученых за границей. Из этого семинара и организовали университет.

Вспоминал он о русских писателях, с которыми встречался или которых слушал: Шмелеве, Зайцеве, Бунине, Тэффи, Алданове, далее шли уже совершенно незнакомые мне имена; также об ученых: Тимошенко, Зворыкине, Бахметьеве, Сикорском, Чекрыгине, Костицыне; художниках: Чехонине, Ларионове, Цадкине, Судейкине...

Называл он, например, Леву Ботаса, который был главным декоратором в берлинской опере, еще каких-то балетмейстеров, музыкантов, химиков, которых мы по невежеству своему и по скудости информации знать не знали.

Несколько лет назад я побывал на русском кладбище святой Женевиэвы под Парижем. Выдался солнечный день теплой осени. Дорожки кладбища были аккуратно посыпаны красным песком. По дорожкам прогуливались аккуратные старички и старушки, тихо разговаривали. Впрочем, людей было мало, а вот знакомых имен вокруг было много. Я нашел могилу Бунина и его жены, затем Бориса Зайцева, артиста Ивана Мозжухина, писателя А. Ремизова, под деревянным крестом – художника Дмитрия Стеллецкого. Вместе с Иваном Шмелевым под одной плитой похоронена его жена Ольга. Стоял белого мрамора крест у искусствоведа Сергея Маковского – из семьи художников Маковских. Над могилой химика Алексея Чичибабина водружен его бюст из черного камня, у подножья в ведерке стояли свежие цветы. Здесь и мой любимый художник М. Добужинский. Над могилой Евреинова – медальон с его изображением, рядом – биолог К. Давыдов, художник К. Коровин... Вот где удалось свидеться с теми, о ком рассказывал Зубр. В маленькой прикладбищенской церкви, расписанной Альбертом Бенуа, кого-то отпевали. Рыжие листья бесшумно кружились в токах солнечного тепла. Трава еще была полна жизни. Черные дрозды, опустив желтые клювы, семенили среди кустов. На этом кладбище примиренно сошлись обманутые и обманщики, беженцы и беглецы, те, кто мечтал вернуться на родину, и те, кто вспомнил о ней лишь перед смертью, люди разных убеждений, разной славы, но все они считали себя русскими.

Чичибабин в 1930 году уехав за границу, там и остался. Несколько ранее другой замечательный химик, Ипатьев, послан был в заграничную командировку и не вернулся. Появился термин «невозвращенец». Уехал и не вернулся Феодосий Добржанский – один из создателей синтетической теории эволюции; уехал и не вернулся известный физик-теоретик Георгий Гамов, который, кстати говоря, предложил первую модель генетического кода. Таких случаев хватало, и относились к этому в те годы спокойно. Ныне эти невозвращенцы возвращаются – входят в энциклопедии, словари, им отдают должное, их цитируют, о них пишут...

В Берлине белоэмигрантов и невозвращенцев жило много, и изолироваться от них Тимофеевы не могли. С годами русские стали стремиться в тимофеевский дом, прямо-таки льнули к Колюше со всей его и показной, и внутренней рускостью. Вскоре это сыграло свою роль, обернулось непредвиденно драматично.

А пока жизнь в Бухе полнилась. Олег Цингер видел домашнюю часть этой жизни, лишь догадываясь, как там, в лаборатории, бушует, клопочет темперамент его друга.

Бесполезно было уличать Зубра в противоречиях. Ругая все немецкое, он облеплен был немецкими друзьями. Ругая немецкую нацию, он защищал немецкую точность, порядочность, немецкую философию, почту, немецких инженеров, немецкие карандаши и еще множество немецкого. Правда, продолжал настаивать на том, что отдельно взятый немец хорош и годен к пользованию, вместе же собранные – ужасны, в большом количестве – невыносимы.

Глава двадцатая

Наступил 1933 год, власть захватил Гитлер, и довольно быстро обстановка в Германии стала зловеще меняться. Однако менялась она прежде всего для самих немцев. Наверное, Тимофеевы пока еще ничего особенного не замечали. Бух был в стороне от событий, политической Зубр не интересовался, а главное – ни его самого, ни его работ все происходящее ничем практически не коснулось. Он был советским гражданином и чувствовал себя независимо и непричастно.

«Летом мы вместе поехали в отпуск на Балтику, в Померанию, – вспоминает Олег Цингер. – Там мы сняли большой крестьянский дом с соломенной крышей. В одной половине поселились Тимофеевы, в другой – я с женой и малышом. Колюша вставал рано. Загорелый до черноты, в трусиках, с палкой, с детективным романом под мышкой, он отправлялся каждый день лежать голым в дюны. Сопроводить его было не принято. Иногда Колюша готовил для всех суп: кидал в огромную кастрюлю бобы, фасоль, морковку, кусочек мяса, томаты, все, что было в доме. Кастрюля заворачивалась в одеяло до самого вечера. Вечером он сам развешивал одеяло, разливал суп, все это молча, потом все с глубоким вздохом говорили: “Гениально!”

Иногда мы вместе “учиняли шпацир”, как выражался Колюша. В один такой шпацир мы наткнулись на берегу моря на труп дельфина. Я захотел получить дельфиний череп. У нас был дорожный нож, и Колюша, присев на корточки, объявил: “Ну, вспомняем анатомию” – и действительно очень ловко отделил от туловища голову дельфина. Потом мы ее выварили, и я получил чудесный дельфиний череп».

Немецкая интеллигенция далеко не сразу сумела понять бесчеловечную суть фашизма. Тимофеевы – тем более. Их куда больше беспокоили вести из Союза. С 1929 года там начались неприятности для биологов. Была разгромлена лаборатория Сергея Сергеевича Четверикова, сам он был выслан в Свердловск. Передавали, что в вину ему, в частности, ставили Дрозсоор. Участились нападки на Н. К. Кольцова. Нападали прежде всего философы, да и свои же биологи, подводя, разумеется, под критику идеологическую базу. Семашко был отстранен и послан на кафедру санитарной гигиены в МГУ. Кроме биологов, доставалось и физикам, особенно теоретикам, которых винили в том, что они занимаются неизвестно чем, не помогают народному хозяйству.

В советских газетах и журналах сообщали, что известные заслуженные профессора поддались буржуазным влияниям, не тому учат молодежь, преподают оторванно от практики. Ученики отрекались от них. Передавали, что племянник энтомолога М. Н. Римского-Корсакова заявил, что с такого-то числа он не считает себя больше его племянником. Сперва громил Деборин, потом громили Деборина. Дискуссии заканчивались увольнениями. В письмах друзей из Москвы обо всем этом говорилось глухо, намеками. Появлялись проработочные статьи, фельетоны в газетах. Месяц за месяцем проработки ожесточались. Начались аресты. Разоблачали – слова-то какие появились! – механицистов, морганистов. Отозвали из Буха Слепкова, в Москве его арестовали.

Приходили журналы с материалами дискуссий, там красовались бредовые выступления Презента и прочих. Печатали покаянные письма авторитетных ученых... Творилось черт знает что, и все это зловеще нарастало.

Примерно в это время Колюша стал получать предложения вернуться – то в Белую Церковь возглавить Институт генетики сахарной свеклы, то в Пушкин под Ленинградом. Он сообщал обо всех предложениях своему учителю Кольцову, спрашивал совета. Тот через друзей – шведа Кюна, физиолога растений Макса Хартмана – отвечал: «Неужели вам не известно, что у нас делается? Сидите там и работайте. Командировка у вас на неопределенное время. Что вам неймется?»

В другой раз он предупредил еще яснее: «По приезде вы наверняка с вашим характером вляпаетесь в какую-нибудь скандальную историю и угодите на Север. И всем вашим друзьям достанется».

Существует легенда: когда Н. К. Кольцов, будучи в последней своей заграничной командировке, встретился с Тимофеевым и посоветовал ему то же самое – наберитесь терпения, пока страсти у нас улягутся, не суйтесь под горячую руку, – то Колюша очень сетовал на то, что охота домой, в Москву, к тому же там зимние вещи остались, а здесь денег нет купить. На это Кольцов снял с себя шубу и отдал ему.

Сам я от Зубра ничего подобного не слышал, думаю, что это одна из сказок, какие о нем сочинялись. Разные люди повторяли мне эту историю в разных вариантах – шуба была лисья, воротник, конечно, бобровый, старорежимная шуба, хорьковая... Легенда, самая невероятная, многое говорит внимательной душе. «Хорошая история необязательно должна быть истинной, достаточно правдоподобия, – повторял Зубр слова Нильса Бора. – Нужно ли слишком строго следовать за фактами?»

Официально он имел право оставаться за границей. По-прежнему он считался в командировке вместе со своей семьей, у них были советские паспорта. Институт числился германо-советским. Он мог переждать.

В 1935 году пришло известие, что президентом ВАСХНИЛ вместо Н. И. Вавилова назначили неведомого Зубру А. И. Муралова (замнаркома земледелия, спустя два года, в 1937-м, его расстреляли как врага народа).

И до этого происходили наскоки на Н. И. Вавилова, после же снятия гонения на него усилились.

Глава двадцать первая

Всякий раз, приезжая в Германию, Николай Иванович Вавилов останавливался у Тимофеевых. И в Америку, и в Италию, и в прочие страны Европы путь тогда лежал через Берлин. Оба Николая – Николай Иванович и Николай Владимирович – имели здоровье богатырское, кроме того, выработали в себе одинаковую способность мало спать, так что могли трепаться ночи напролет. Под утро заснут часа на три-четыре и встанут в восемь свеженькие, готовые к работе.

– Я бывал полезен Николаю Ивановичу в смысле корректуры его немецких докладов. Из Берлина ему приходилось ездить в Галле – крупный центр прикладной ботаники, сортоводства. Там он выступал, доклады писал по-немецки, и их приходилось малость подправлять.

Тут Зубр отвлекался, вспоминал дом Генделя в Галле, собор, узорчатые его своды и отличную из металла фигурку Христа, падающего с распятия...

Дружба с Вавиловым, начатая в Москве, не прервалась с отъездом Колюши, разлука укрепила ее. Издалека как бы лучше виделось и ценилось. Н. И. Вавилов предстал перед Тимофеевым уже не в российском, а в европейском масштабе. Оказалось, это гигантская фигура. Через четыре года, на VII генетическом съезде в Эдинбурге, куда Вавилову не разрешено было поехать, хотя он был избран президентом конгресса, профессор Крю вышел на сцену и, прежде чем на него надели мантию президента, сказал: «Вы пригласили меня играть роль, которую так украсил бы Вавилов. Эта мантия мне не по плечу. Я буду выглядеть в ней неуклюже. Вы не должны забывать, она сшита на Вавилова, куда более крупного человека».

Эта мантия не была никому по плечу в том, 1939 году, кроме Вавилова.

Тимофеев тянулся к нему по-детски, с несвойственной ему нежностью, как к старшему брату. С Вавиловым его сближало многое: Москва, генетика, друзья, вплоть до любви к живописи. Вавилов обходил все крупные музеи Европы, знал классику и, что самое дорогое для Тимофеева, имел личные пристрастия и личное отношение ко многим картинам и художникам: одни волновали душу, другие – ум, третьи отвращали. Такое же пылкое отношение было и у Колюши. Они то и дело схватывались, не уступая друг другу. Несмотря на трепет перед Вавиловым, Колюша бушевал, вопил, но того никаким голосищем не проймешь. Они были представителями исчезнувшего слоя русской интеллигенции, из тех, кто умел вырабатывать собственное, не экскурсионное отношение к искусству. Их не водили по музеям. Сами бродили по картинным галереям, отыскивая интересное для себя, часами разглядывали и так и этак, определяя силу, мастерство, тайну художника. Они листали книги искусствоведов, проверяя себя, всерьез переживали, обнаружив свою слепоту. Суждения их часто бывали наивны, грубы, вкусы дурны. Олег Цингер возмущался высказываниями Зубра о некоторых картинах. Другой сотрудник Зубра, Гребенщиков, морщась, рассказывал мне, как залихватски судил шеф о французской опере, хоть уши затыкай. Нелепо, зато по-своему, незаемно. И книги читали, классику – опять-таки для себя. Читали, вчитывались, запоминали, цитировали. В их речи то и дело звучали строки, фразы, стихи.

Зубр подмигивал:

Нынче я все понимаю,
Все объяснить я хочу,
Все так охотно прощаю,
Лишь неохотно молчу.

И вдруг опасно щурился, заметив на моем лице неуверенное движение.

– Чьи стихи?

Он не понимал, как можно не знать Некрасова, Лермонтова, как можно не помнить Грибоедова, Гоголя, не говоря уж о Пушкине.

К тому же они владели латынью. А латынь давала знание корней большинства европейских языков. Поэтому, не тратя особо времени на грамматику, они говорили по-французски, по-английски, понимали кое-как по-итальянски.

– ...Вавилов отличался большой простотой, он не любил генеральничать, – продолжал Зубр. – Относился к людям без чиновочитания, одинаково разговаривал и с министром, и с академиком, и со студентом.

Вдруг он расхохотался, вспомнив интересный случай. Когда Герман Мёллер, один из основателей радиационной генетики, приехал в Советский Союз, Вавилов решил его и кого-то еще из иностранцев прокатить по разным республикам. Летели они из Баку в Тифлис. Что-то их задержало в пути, грозу, что ли, пришлось обходить, – только легчик шепотком сообщает Николаю Ивановичу: «У меня бензина не хватит. Мы погибнем, сесть-то негде – горы. В Баку обратно тоже не долетим». Вавилов сообщил об этом Мёллеру. Тот выгащил записную книжку, последние распоряжения записывает. А Николай Иванович сел поудобнее, ноги вытянул: «Ничего не поделаешь, самое время отдохнуть и подремать!» Взял и задремал. Оказалось, что бензина тютелька в тютельку хватило до какого-то предтифлисского аэродрома. Вот тогда-то родилась у них формула: жизнь тяжела, но, к счастью, коротка!

– ...Не тонуть в многообразии – вот его редкий дар. Вы, неспециалисты, не представляете себе того огромного материала по изменчивости, которым владел Николай Иванович. И вот не тонуть в этом огромном материале, найти какие-то генетические закономерности за этим многообразием – дар особый, им он владел в совершенстве. Я могу об этом судить потому, что мне пришлось заниматься системной изменчивостью, и я представляю способности, какие надо было иметь молодому Вавилову, чтобы не захлебнуться, как захлебывается большинство. На многих миллионах экземпляров культурных растений – миллионах! – увидеть закономерность...

Это отрывок из его лекции о Вавилове. Читал он ее на какой-то биошколе, и кто-то, к счастью, записал ее на пленку.

К счастью потому, что свои лекции он готовил в уме, не писал никаких тезисов. Лекция его была лекцией, доклад докладом, не рукописью будущей статьи, как это принято ныне. «Ибо не пропадать же добру», – пояснил мне молодой доктор наук, считая, очевидно, всякое свое выступление большим добром.

Жаль, что лекции его, посвященные Нильсу Бору, Макс Планку, Георгию Дмитриевичу Карпеченко – ленинградскому генетику, Хаксли, Кольцову, остались незаписанными. Жаль! Он умел, как никто, делать эти портреты. Кассета с лекцией о Вавилове дошла до меня, будучи передана через многие руки. Радоваться и удивляться следует тому, как много людей понимали уникальность слышанного и записывали. Среди его учеников, сотрудников, слушающих журналистов, студентов часто появлялся кто-то с магнитофоном. Благодаря стараниям С. Э. Шноля в Пущине скопилась большая коллекция записей – двадцать пять километров пленки, десятки бобин. Обнаружилось собрание рассказов, записанных специально сотрудниками МГУ. Также десятки кассет. Надеюсь, что где-то еще хранятся записи его рассказов. Если все это перевести на бумагу – получится собрание сочинений. Прослушать весь этот материал у меня не хватило сил, я почувствовал, что дурею, гибну, тону в этом обилии мыслей, воспоминаний, имен. Я не представлял, сколько может вместить тимофеевская память. Пришлось ограничить себя. Конечно, остались пробелы. Но чем больше я привлек бы материала, тем больше было бы пробелов. Биография никогда не бывает полной.

Те, кто не записывал, – запоминали. Иногда слово в слово. То есть тоже как бы включали некое запоминающее устройство внутри себя.

В сборе материала для этой повести участвовали люди из разных стран, все считали себя обязанными помочь мне. Приезжали из Москвы, из Обнинска. Игорь Борисович Паншин прилетел из Норильска. До этого он прислал мне полсотни страниц писем-воспоминаний. Люди откладывали свои дела, разыскивали свидетелей, знакомых Зубра, записывали их воспоминания. Одним хотелось восстановить справедливость, другие считали себя обязанными Зубру, третьи понимали, что это История. Встреча с Зубром оказывалась для большинства самым ярким событием их жизни.

Зубр хорошо запоминался. Его необычность возбуждала память, люди ощущали значение этой фигуры, а вместе с тем – и свою включенность в Историю, чувствовали себя свидетелями.

– ...Конечно, многое Вавилов получил от Бэтсона, который был одним из самых образованных генетиков. В восьмидесятые годы он выпустил замечательную книгу «Изменчивость животных» – толстенная штука, в которой собран громадный материал по изменчивости морфологической и физиологической. Читать ее нельзя, ею можно пользоваться. Вообще читать научные книги не стоит, ими надо пользоваться. А читать надо Агату Кристи...

Он называл ее не Агатой, а Агафьей, так же как Ганса Штуббе он называл Ванечкой Штуббе, Бора – Нильсусшкой.

– ...Кое о чем из бесед с Бэтсоном мне рассказывал Николай Иванович. Бэтсона я тоже знал. Мне везло в жизни: я знал всех корифеев физики, математики, создавших новое представление о картине мира: Эйнштейна, Планка, Гейзенберга, Шрёдингера, Борна, Паули, Лауэ, Дирака, физика Йордана, математика Винера, Бриджеса, Мёллера, Бернала...

Он мог бы продолжать и продолжать. Насчет всех корифеев – не преувеличение. Его общительность, его слава за восемнадцать лет заграничной жизни свели его со многими учеными. К тому же он ездил по всяким семинарам, университетам, конгрессам, посещал лаборатории и институты, читал доклады. Непонятно, конечно, как это совместить с тем, что все эти годы были плотно заполнены, утиснуты научной работой – не теоретической, не размышлениями о том о сем, не вычислениями, а плотной экспериментальщиной: сидением за микроскопом, возней с посевами, потом облучением, возней с дрозофилами, подсчетами, астрономическими подсчетами, когда тысячи и тысячи мушек надо перебрать руками. Требовалось безвыходно торчать в лаборатории. Откуда же набралась эта уйма знакомств? Бесчисленные разговоры происходили не просто так, с каждым было связано что-то важное. Как это все умещалось – понять не могу, могу лишь представить себе появление его в любом обществе: сразу фокус внимания переносился на него. Он перетягивал интерес к себе. Он ошеломлял. Ему необходимо было освободиться от накопленных мыслей, идей, и он выплескивал их, не заботясь об аудитории. Этот грохочущий взлохмаченный зоолог, «мокрый зоолог», как он рекомендовался, обладал той чудинкой, сумасшедшинкой, которая позволяла ему увидеть в чреве природы то, что не видели другие. Подозреваю, что не он стремился знакомиться с корифеями – они знакомились с ним. Все они воспринимали мир чуть сдвинуто, иначе, чем обычные люди. Он был из их породы. Но, кроме того, он умел об этом рассказать сочно, страстно. То, над чем он бился, разумеется, было наиважнейшим, решающим во всей науке. Известный немецкий физик Роберт Ромпе вспоминал, какой сенсацией были лекции Зубра тогда, в Германии тридцатых годов.

– ...Бэтсон меня не очень интересовал. Он был уже стар и слаб. Вот кто был до известной степени учителем Вавилова – это наш географ и биолог Лев Семенович Берг. Он был немного старше Вавилова. От Берга и Вернадского, отчасти от Докучаева он получил изумительное чув-

ство Земли как планеты, как среды обитания, как биосферы. Практическая часть его работы состояла в том, что мы будем жрать в двадцать первом веке...

В его лекциях хороши отступления от темы. Порой его уводило бог знает куда, и в этих свободных завихрениях рождались неожиданные для него самые идеи, мысли парадоксальные, всплывали истории из его собственной жизни и жизни известных людей, исторические события, о которых нигде не написано.

Например, упомянув прославленного английского естествоиспытателя Джона Холдейна, он рассказал комическую историю о том, как Холдейн участвовал в Первой мировой войне рядовым, а кончил майором, заработал крест Виктории. Холдейн так любил воевать, что просялся туда, где было наступление. Сидеть в окопах было скучно, он приставал к начальству, чтобы устроили атаку: «Хоть бы вылезти из окопов, подраться без всякой стратегической надобности!» После войны кто-то из английских умников додумался сбрасывать с самолетов небольшие железные стрелы. Они должны были пробивать стальные шлемы. Для защиты были сделаны специальные металлические колпаки. Холдейн взялся испытать эти колпаки. Накрывался им, и в него швыряли стрелы. В колпаке грохот стоял страшный, Холдейн чуть не оглох...

Ни в одной из биографий Холдейна нет этой истории, рассказанной самим Холдейном Тимофееву за каким-то обедом.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.